



**МАРИЯ
СЕМЁНОВА**

БРАТЬЯ

**Книга 2
ЦАРСКИЙ ВИТЯЗЬ
Том 2**

Волкодав и его мир

Мария Семёнова

Царский витязь. Том 2

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Семёнова М. В.

Царский витязь. Том 2 / М. В. Семёнова — «Азбука-Аттикус»,
2018 — (Волкодав и его мир)

ISBN 978-5-389-15132-1

Вселенская Беда наслала на землю многолетнюю зиму, оставила немало сирот. Настали тяжкие времена, обильные скорбью утрат... В чужой семье, в глухой деревушке вырос приёмыш – чудом спасённый царевич Светел, наследник некогда могущественной империи. Он решает стать витязем, чтобы найти и спасти родительского сына Сквару, насильно уведённого из дому. И вот Светел, вчерашний мальчишка, шагает в дружинном строю под небом вечной зимы. Налаживает самодельные гусли, терпит насмешки старших, дорожные тяготы, боль и синяки обучения. Всё ради того, чтобы однажды, став богатырём и вождём, по камешку разнести Чёрную Пятерь, вызволить любимого брата! Между тем порой совсем рядом вьётся холмами и пустошами тропка Сквары, ставшего тайным воином. Тень во тьме, вихорь невесомой позёмки, блеск стремительного ножа... Пути братьев то сходятся почти вплотную, то разбегаются вновь. Суждена ли им встреча? А в подземном книжном хранилище дни и ночи не гаснет маленький свет. Юный учёный, занятый мирными разысканиями, чувствует дыхание тайн, способных поколебать царские троны. И вот однажды запускается цепь событий, приводящая к неожиданному излому...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-15132-1

© Семёнова М. В., 2018

© Азбука-Аттикус, 2018

Содержание

Доля пятая	7
Орудье о блюде	7
Духовая щелья	11
Колыбельная брату	20
В перепутном кружале	25
Ночёвка в зеленце	29
Встреча	37
Гузыни	43
Кружало	47
Возвращение с орудья	56
Гонец	58
Туманная щелья	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Мария Семёнова

Царский витязь. Том 2

© М. Семёнова, 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

* * *

Доля пятая

Орудье о блюде

– Не пушу!

Воздетая клюка рассекла воздух. Шерёшка стояла в калитке, словно дом от злых гонителей защищая. Воронята даже прыгнули назад, к саночкам, откуда выбиралась испуганная Надейка.

Седые Шерёшкины пряди вились по плечам, наделённые недоброй собственной жизнью.

– Вон отсюда ноги, приبلудыши!

Лыкаш с места не сошёл, но загрузил. Славненько начиналось деяние, должное к державству его вознести. Когда первый шаг таков, каких бед завтра ждать?.. Он доподлинно знал: Белозуб чуть не плакал, выпрашивая себе это орудье, но учитель был непреклонен. «Воробыш пойдёт. И Ворон с ним, для пригляду». Лыкаш с радостью уступил бы честь, да кто ж спрашивал?

Покосившись на Ворона, гнездарь забыл свои горести. На это стоило поглядеть! Надменный дикомыт, чьи дела уже обросли баснословными пересудами, стоял виноватый. Гордые брови сложились жалобным домиком.

– Мы не баловства ради, тётенька.

– А ты! Охаверник!.. Ты!..

– Нас учитель на орудье послал.

– Знать бы, что половину шайки притащишь, воли моей не спросив, я и тебя...

– Ты хоть выслушай, тётенька.

– Слышать ничего не хочу!

– Такое наше орудье, что стервоядцам здешним досада великая сотворится.

Костлявые руки крепко стискивали клюку. Шерёшка молчала, трудно дыша. В глазах всё не унималось тёмное пламя. Наконец бобылка кивнула на мальчишек с Надежкой, спросила недоверчиво:

– Эти, что ли, досаждают станут?

– Нет, тётенька. У них...

– Так пусть лыжи воротят, отколь пришли!

– У них орудье своё. Станут обходить кипуны, камешки весёлые собирать, грязи цветные.

– Пусть опричь моей калитки плетутся!

В Чёрной Пятери уже не все помнили дивный запах Шерёшкиного печенья. Только звучали в общей опочивальне сказы о воровских подвигах нынешних старших.

– Ты бы хоть спросила, на что...

– Вчера не знала и завтра не пригодится. Уводи, отколе привёл!

– А на ризы святой царице Аэксинэй, на плащ государю мученику Аодху.

Шерёшка замолчала, осёкшись. Впрочем, сошку держала по-прежнему крепко и зло.

– На какие такие ризы?

– Про это, тётенька, Надейку расспрашивай. А ежели не любо нас принимать...

– В дровник веда, – бросила, отворачиваясь, немилостивая бобылка. – И вас, остолопов двоих, в избу не пушу, не надейтесь.

Лыкаш сбросил с плеч лямки алыка.

– Пошли, – сказал ему Ворон.

– Куда?

– Людишек будешь опытывать.

Лыкаш опять загрустил. Он полагал засесть с Шерёшкой за стряпной склад, недавно найденный в книжнице. Думал, Ворон сам отправится доводить вороватых насельников до ночного удушья, выведывая, чей отец уволок из крепости царское блюдо да в какую сторону продал.

– Может, ты скорее управишься?... – вырвалось у него.

Ворон поднял бровь. Его дело догляд. Он, конечно, не даст Лыкашу ни пропасть, ни потерпеть неудачу... но и подменять собою не станет. Лыкаш только рукой махнул, первый вышел вон со двора.

Дровник у Шерёшки был просторный, щепы и чурки полнили навес едва до середины. Тщедушные хворостины, добытые хозяйкой, сразу было знать от поленьев, наколотых мужскими неутомимыми руками.

Надейка вытащила свою постель, разложила у стенки. Ирша с Гойчином собирались ночевать дорожным обычаем, довольствуясь кожухами: «Мы мораничи. Нам с дядей Вороном на орудья ходить!» И удрали со двора – якобы разведывать кипуны. На деле, конечно, подсматривать, как-то дядя Ворон будет досажать деревенским. А заодно – хоть ненадолго убраться от злющей хозяйки, с которой один только дядя Ворон сладить и мог.

Надейка выкладывала из санок последнюю плитку чёрного камня, добытого в развалинах крепости. На крылечке вновь стукнула сошка.

– Ты, бестолочь, какое понятие о царских ризах можешь иметь? – требовательно и как-то обиженно спросила Шерёшка. – Ты в Беду хорошо если в мамкином брюхе играла!

Надейка покорно опустила глаза:

– Твоя правда, тётька. У государыни платье белое, всё синими незабудками. А у государя корзно серебряное, с плеча книзу прикраса в синюю и зелёную нитку...

– Тьфу! – озлилась Шерёшка. – Где то узорочье, негодница? И где наши грязи?

– На картине...

– Что?

– Мне картину велено поновить. С четой праведной.

– Кто велел?

– Господин Лихарь орудье вменил...

Шерёшка зло отмахнулась:

– Картины жаль. А Лихарю неудача поделом станет.

Надейка смолчала.

Шерёшка вдруг ткнула клюкой тяжёленькую чёрную плитку:

– На чём тёртые глины замешивать собралась?

– На желтке с водицею...

– Ты меня провести даже не помышляй. Батюшка мой сам книги сшивал, сам расписывал, – сурово предупредила Шерёшка. – Краски твои провоняют, иссохнут, трещинами пойдут! – И злорадно предрекла: – Загубишь, Лихарь тебя...

Отболевшие ожоги закалили Надейку. Она не вверглась в былое помрачение, лишь чуть вздрогнула.

– На желтке не иссохнут, тётька. А чтоб не протухли, уксусом разведу. Закончу, для крепости рыбьим клеем промажу...

Шерёшка тяжело помолчала, пряча удивление.

– Кто научил? – спросила она затем.

– Я от образа Матери... художество постигала...

– Врёшь, – наставила костлявый палец Шерёшка. – Угольями берёсту марать – это да, это всякий наловчиться способен. А красками – нет! Умишка не хватит! Их от Богов взысканные

люди в старину обрели и нам науку оставили. Сей же час сказывай, кто на ум направлял! Не то вовсе выгоню и показываться возбраню!

В дровник сунулись воронята. Босые, с мокрыми по колено ногами, штаны перемазаны жёлтым и красно-бурым. Шерёшка зашипела на них. Оба мигом исчезли.

Надейка отвела глаза:

– Меня дедушка Опура учил.

За углом раздались смешки. Опура! Каких только прозваний людям не нарекают!

– Я кого выгнать сулила, если снова соврёшь?

– Не вру я, тётя. Он мне показал, как тереть, как кисти вязать...

– Опура? Он до твоего рождения последний ум обронил. Вот что, девка...

– Как есть обронил, – прошептала Надейка. – Когда стена падала, святой жрец хвалы Владычице возносил, а дедушка остатний уголок изрисовывал. Краснопева потом костей не нашли. А дедушка умом подался, когда ему труд всей жизни земными корчами обвалило.

– Ты почём знаешь? Ты тогда...

– Мама сказывала.

Воронята осторожно присели на порожек дровника, стали слушать. Полоумного Опуру они не застали. Не видели, как старец бродил безлюдными переходами. Не слышали, как беседовал сам с собой, поднося жирник к остаткам стенных росписей. Ирша и Гойчин были уже из нового поколения.

– Для нас всё случилось вчера, – совсем другим голосом сказала Шерёшка. – Вам, подлёткам, отцы-матери донесли. А скоро одни бабкины сказки останутся, никто им и веры не даст.

– Так он что? – робея, спросил Гойчин. – Дед этот?

Грустная, задумчивая Шерёшка была совсем непривычна. Как обходиться с ней, пока она размахивала палкой, грозясь прогнать за забор, они успели постичь. Как поступать с тихой и печальной – понятия не имели.

– Вам, малышне, уже не представить солнца на башнях Царского Волока, когда наш корабль подходил заливом, – проговорила Шерёшка. – Для вас это Чёрная Пятерь, где людей меньше, чем крыс, и на каждый жилой покой по три хода заваленных. Кто, рассматривая груды костей, углядит былую красавицу?

Женщина помолчала, конец сошки вычертил по утópку странную загогулину. Воронята переглянулись. Учитель сравнивал крепость с гордым воином, принявшим раны, но по-прежнему сильным и непреклонным. Такое сравнение мальчишкам нравилось больше, но с Шерёшкой спорить – себе дороже. Только раскричится. И больше ничего не расскажет.

– Я же видела старика, – тихо продолжала Шерёшка. – Когда печенье Ветру вашему приносила. Брезговала вонючкой, нос воротила. Знать бы, что это ради его образов и поличий мы с мужем горести морские терпели! Верный список с картины чаяли домой увезти! – Шерёшка вздохнула. Сложила руки на сошке, утвердила сверху подбородок. – А после...

«А после я мимо ходила. Своё горе лелеяла. Вот, думала, земля носит противного! Когда моих мужа с доченькой...»

Вслух она этого не произнесла.

– Тётя Надейка, – опасливо прошептал Ирша, – а ты как про дедушку поняла?

Надейка ответила так же тихо:

– Я в надвратной молельне узор на берёсту переводила...

– В надвратной? Там же крыши нет и стены суровые?..

– Уходит всё, – сказала Шерёшка. – Расточается. Чего огонь не сжёт, вода по капле смывает. Дети ваши и того, что сейчас есть, не найдут.

– Тогда тоже не много видать было. Остаточки. Зачин прикрасы в уголке. Как дальше совьётся, не угадаешь, а всё одно загляденье. Я рисовать... оглянулась, дед Опура стоит. Взял уголь у меня, заругался, мол, обточен не так. Бранится, а сам узор выводит верной рукой...

Шерёшка вдруг вновь рассердилась:

– Погляжу ещё, что ты намалюешь!

– Тётенька Шерёшка, – сказал тихий Гойчин, – тебе, может, дров нарубить? Полы вымести? Починить что?..

Духовая щель

«Ну вот объявлюсь я вельможам. Клеймо открою. А дальше?»

Стоит сделать долгожданный первый шаг, и кажется, будто весь путь уже пройден. Ничтожный отрок воочию видел себя витязем. Вождём, готовым говорить с высшим почётом Андархайны.

«Только пусть попробуют рукой отмахнуться!»

Светел представил длинный стол вроде того, что накрывали для братской трапезы в Твёрже. Красных бояр, разодетых, как богатые купцы в Торожихе. Избы по сторонам большой улицы, опять вроде твёржинских, только нарядней, выше.

И ему, Светелу, сидеть во главе того стола.

О чём толковать с андархскими большаками? Сколько ни думал – ничего придумать не мог. Попеченья будущего царствования сводились в его разумении всего к двум заботам.

Вот первая:

«Велю вам, могучие воеводы, по камешку разорить Чёрную Пятерь! Сам первый пойду и уж не уймусь, пока брата не вызволю!»

И вторая:

«А кто словом заикнётся Коновой Вен воевать, я того не гневом опалю, я того кулаком в землю вгону!»

Что ещё делать, нарёкшись Аодхом Пятым?

Поди знай. Так далеко Светел до сих пор не заглядывал.

Это был узкий бедовник, длинный и прямой, как копьё. Его огненным мечом прорубили вихри Беды, рвавшие в каменную щель меж холмов. Теперь здесь гуляли обычные ветры. Жгучие, свирепые. И дули, как водится, прямо навстречу походникам. Старые зяблины на щеках отзывались памятной болью. Светел корчил рожи под меховой личиной, силясь разогнать кровь. Шурил глаза в прорезях, жёсткой рукавицей сдирал с ресниц лёд. Ветродул, по крайней мере, сметал кидь из-под ног, выглаживая дорогу. На иртах своей работы бежалось легко и задорно. Каёк со звоном втыкался в крепко слежавшуюся, бороздчатую белую толщу. Взвизгивал, проворачиваясь. Взлетал в новом замахе. Разогнанные санки катили сами собой. Почти не дёргали пояс.

Временами Светел оглядывался, ибо сзади бежали заменки. «Нас потому так зовут, что мы всякого воина заменяем, – пояснил Косохлест. – Сестра вот из лука бьёт, когда дядя Гуляй дострелить не умеет...» Доверчивый отрок сперва рот разинул: ух ты! После вообразил страшный лук Гуляя в тонкой руке Нерыжени. Больше он ни о чём Косохлеста не спрашивал.

И называть Нерыжень милой белянушкой даже про себя не тянуло.

Источенный ветрами бедовник казался рекой, пробившей русло среди дремучих урманов. Кое-где из-под снега выпирали громадные изломанные стволы, все макушками к северу. Сразу видно: люди поблизости не живут. Ни полозновиц от тяжёлых саней дровосеков, ни отметин топора или пешни.

– Ишь, посохом размахался, – ворчал сзади Косохлест. – Не призадумался, пáсока, в кого комья летят!

Пасоккой бывалые витязи именовали хвастунов, на деле ещё не багровивших кровью меча.

– Ладно сердать, братец, – серебряным голоском вступилась Нерыжень. – Не видишь, из сил вымотался мальчонка. Ему, может, пособить надо, а ты всё бранишь.

В один из первых дней Светел попался. Полез спорить, будто ничуть не стомился. «Ах так?» Косохлест сразу подбавил ему поклажи со своих и сестриных санок. Спасибо, сам сверху

не сел. Светел сдюжил, конечно. Заодно уяснил себе накрепко: мало ли что ты дома великое место держал. Здесь отроком назвался, ну и помалкивай.

– Эй! – возвысил голос Косохлѣст. – Помочь, что ли?

Светел ответил через плечо и сквозь зубы, но как полагалось:

– Благодарствую, дяденька. Сам дотащу.

Хочешь не хочешь, величай парня младше себя. Светел с тоской вспомнил калашников. Вот где побратимы, вот кто друг за дружку горой! «Может, я от своих людей к чужим людям ушёл?..» Через полсотни шагов он честно попытался представить, как под снегириное знамя прибил бы парнишка со стороны. Увидел свой и Гаркин кичливые взгляды. Даже улыбнулся под меховой харей.

Тоже небось присвоили бы почёт.

Нерыжень снова подала голос:

– Вовсе не жалеешь, братец, меньшого. Кликнет дядя Сеггар привал, ему, бедному, снова без конца шпенёчки крутить, струночку за струночкой ладить...

Светелу померещился сдавленный смешок за спиной. Там словно ведали про него тайное, ззорное, но что? Поди знай.

– Не заснуть бы, покуда песен дождёмся, – согласно протянул Косохлѣст.

И опять словно подавился смешком.

Светел оскалился под личиной. На правду грех злиться, да только большей правды ничто не язвит. Сколько он ни слаживал струны, к следующему привалу они вновь звучали враздрай. Не блюли строя, хоть плачь.

Надо было знать в ту последнюю домашнюю ночь: от лютых обид добра не родится. Гусельки, которые он долбил, выглаживал, клеил так жадно и яростно, словно прямо на них жизнь со смертью сплелись, – этим гуселькам его тогдашняя надсада пришлась как беременной бабе пинок в брюхо. Не порно выпросталось хилое чадце. Вместо бодрого крика еле мяукнуло.

«Где оплошка? Сколько санок в путь выпустил, ни у одних копылья с полозьями расстаться не норовят. А тут шпенёчкам струн не сдержать...»

Постепенно делалось не до разговоров. Уже густели сумерки. Сеггар гнал вперёд, стремясь до темноты пройти Духовую щелью. Чем ближе к холмам, тем беспощадней наседали ветер. В теснине, куда упирался бедовник, гудела воздушная стремнина. Что за сила гнала ветер сквозь трещину возле самой земли, когда всё небо отдано могучим крылам? Светел не знал. И никто не знал. Ни в Левобережье, ни на Коновом Вене. Всюду считали Духовую щелью чудом. Не злым, просто суровым. Бывали хуже места. Здесь, по крайней мере, люди не пропадали.

Каменное горло можно было обойти, задав крюк вёрст на двадцать, но воевода спешил. Упрямые сеггаровичи входили в теснину, ложась грудью на живой плотный воздух. Поговаривали, будто ветер здесь обретал человеческий голос. Светел хотел вслушаться, но было недосуг. Приходилось двумя руками всаживать посох, чтобы не опрокинуло коварным порывом. Светел убирал лицо, лишь изредка раскрывая правый слезящийся глаз. На левом, неволей подставленном ветру, смёрзлись ресницы. Ветер метал иглы, гвозди, бронебойные стрелы. От такой молотьбы потом больно под веками.

– Ну погодища! – прихотью воздушных токов донёсся смех Ильгры. – Будто в лодке упором!

Дойдя до каменной шишки, за которой неясной тенью растворился Гуляй, Светел глянул назад. Заменки приотстали. Лёгкая Нерыжень налегала на каёк, цепляла мёрзлые камни... всё равно съезжала обратно. Даже камыс на лыжах не помогал. Косохлѣст тянулся помочь, возился с потягом.

Ильгра прошла здесь без помощи, но Светел не вспомнил, не призадумался. Живо отстегнул санки, направил в стену, чтобы не снесло. Перепрыгнул с лыжами, проехал по ветру.

Радостно ощутил в себе силу – врѣшь, вихорь, не сдвинешь! Упёрся, схватил руку Нерыжени, поволок за собой. Шаг, ещё, ещё! Вот и кремнёвый желвак. Руки в стороны разведи – обе стенки достанешь. Одолевая половину неба, ломившуюся навстречу, Светел рывком бросил себя на ту сторону. Вытянул Нерыжень.

И... весь воздух кругом куда-то пропал. Рот открылся сам собой, как у вытащенной рыбёшки. Затишь казалась неестественной. Почти пугала.

– Тебя кто просил? – с нешуточной яростью вырвалась Нерыжень.

Светел отодрал с левого глаза корку льда вместе с половиной ресниц.

– Ты ж девка... – проговорил он растерянно. Хотел добавить – у нас на Коновом Вене девьё заступать принято... Не добавил.

– Ещё кто тут девка!

Изошрённый удар легко пронизал меховую толщу, вязаную, портяную. Выше брюха, ниже груди. Огненным клубком прожѣг тело – искры вон! Какие сшибки в Затресье, гордая победа возле Смерёдины?.. Светел задрал кверху носки беговых лыж. А Нерыжень, выплеснув обиду, вспомнила: в теснине остался брат. С тремя санками. Девушка обрадованно устремилась за желвак, но тут Косохлѣст сам показался наружу. За ним выкатились его чунки.

– Ты, олух, оружие без присмотра бросил и сестру к тому понудил?

Поднявшийся Светел проворно отскочил и только тем избег новой кары. «Я бросил?..» Вслух пенять было без толку. Он торопливо скинул юксы, проскочил мимо «дяденьки», нырнул за желвак. Вихрь немедля пнул его в спину, ринул вперѣд. Светел едва устоял. В узких стенах плавала почти крошечная тьма. Санок не было. Ветром столкнуло? Косохлѣсту помешали пройти?.. Светел заскользил на коленях, шаря по снегу. Руки натолкнулись на гнутый облук. Санки Нерыжени, заботливо опѣртые о валун. Щенячья глупость, бросившая отрока помогать воевнице, сделалась совсем очевидна.

Свои чуночки Светел нашѣл опрокинутыми у входа в теснину. Захотелось разметать по снегу поклажу. Сесть посередине, замѣрзнуть. Вовсе уйти от чужих людей, никак не желавших становиться своими. Светел вздохнул, впрягся, потащил. В лицо ударили иглы, копыя, бронебойные стрелы.

По счастью, бежать вдогон пришлось недолго. В щѣки пахнуло влажным теплом. Сегтаровичи шли здешними местами не первый раз, хорошие места для ночёвок были давно ими разведаны. Санки витязей стояли огородам у края большой плоской впадины, где снегу лежало на сажень меньше, чем всюду. Внизу тонкой пеленой плавал туман. Не зеленец, даже не оттепельная поляна. Просто грельник, материнская ладонь Земли. Кожух здесь не снимешь, но меховую харю сразу долой!

– Где болтаешься? – встретил Светела желчный Гуляй. – Брюхо к спине липнет!

Он, по обыкновению, растирал ногу, наболевшую в дневном пути.

– Помилуй, дяденька, – смиренно повинулся отрок. – В теснине застрял.

Перед Гуляем он почти лебезил. Очень уж хотелось испытать его прославленный лук, на который, как говорили, стороннему человеку и тетивы не надеть. У Светела был при себе свой, очень неслабый, но можно ли сравнивать!..

Он быстро вытащил трёх больших шокуров, ободрал, начал стружить, пока было хоть что-то видно. В дружине всякое право приходилось доказывать. Твёржинский отрок никаких вольностей покуда не отвоевал. Знай кланялся да служил.

– Не побрезгуй отведать, государь воевода, – по старшинству поднёс он Сеггару самые жирные и желанные стружки.

Сеггар в ответ даже не кивнул. Молча взял, бросил толику на грельник, отдаривая за тепло. Начал есть.

– Не побрезгуй, государыня первая витязница...

И вот так всем остальным.

Заменки в дружине стояли всего на ступень выше Светела, но кормились едва не слаще вождя с Ильгрой. Так, будто Неуступ ждал от них трудов превыше даже своих. Каких именно – Светел не спрашивал, всё равно не ответят. Ему самому предстояло обсасывать хребты.

«Вот ослабну, отстану, совсем пропаду, и не оглянутся. Потеря невелика!» Это говорила обида. Светел знал, что не ослабеет. Шокуры, выкормленные в прудах Твёржи, даровали великую силу. Ему, не другому кому. И ещё предстояло раздавать верхосыточку – калачи, испечённые в ту последнюю ночь. Тонко нарезанные, до нежного хруста высушенные в печи... Светел опять же по чину обнёс лакомством дружинных. Попотчевал добрый грельник, взял сам. Ничего вкуснее не было на всём белом свете.

Домашнее благословение медленно растворилось во рту. Пока оно таяло, Светел пребывал в своей ремесленной. Обнимал братёнка, маму, бабушку. Теперь он знал, почему семьян не было у дверей, пока он иступлённо строгал Обидные гусли. Скоро вынется из короба конечный сухарик, развеется запах... ещё ниточка оборвётся, ещё след позёмкой затянет...

Светел тоскливо сглотнул последки домашнего вкуса. Взял рыбы шкурки и косточки, понёс прочь – птице и зверю, чаявшим угощения от людей.

Другой глупостью и преступлением Светела были проволочные струны Обидных. Обрадовался, дурень, стальному моточку, щедрому подарку Небыша! Изначально думал дедушкины гусельки обновить по образу Золотых: пусть бы его вспоминали, звеня в руках у братёнка. Не обновил. С собой проволоку унёс, как украл. Едва ли не в отместку, что Золотые дома остались. Ну и вышло – сам себя наказал. Где было знать, что тонкие стальные тетивы боятся мороза? Светел каялся, мечтал где-нибудь раздобыть жил. Не на каждой ночёвке гусли вытаскивал. Только там, где стужа давала хоть какую-то шаду.

– Опять бренькать уселся. Чем бы уши прикрыть, – немедля заворчал Косохлест.

Заступа Нерыжени ударила большее нападок.

– Да он, может, петь и не будет. Пока-то струночки соберёт... А там сон сморит.

Щекам стало жарко. Воевница не сильно ошиблась. С прошлой игры Светел нарочно ослабил струны, чтобы пережили мороз. И вот тебе: шпенёчки даже такого усилия не хотели держать. Два крайних вовсе выскочили из гнёзд.

«Что же с вами в битве будет, родимые, коли в санках один раз кувырнулись да оплошали?..»

Рассудок искал объяснений. Сотни сделанных лыж одним голосом винили дурной нрав вагуды, рождённой в обиде. «Дрянной сосудишко. А я иной заслужил? Руки – сковородники, голос – корябка... Смолой, что ли, разведённой гнёзда изнутри напитать?..»

Руки меж тем знай вправляли выпавшие шпеньки, напрягали струну за струной. Спасибо Торожихе, Крылу, спасибо поношениям, принятым на купилище! Светел теперь что угодно мог пропустить мимо ушей.

«Это было в горестный год... Ждал скончанья света народ...»

Последнее время из Левобережья приходили хорошие песни. Иные складывали будто нарочно для того, чтобы по ним гусли налаживать.

«А над ней застыл валун в ковыле...»

Светел выждал, заново попробовал голоса. Гусли звучали верно. Всё-таки он спустил нижнюю струну – проверить, не слишком ли свободно ходит шпенёк.

– А я думал, ветер в Духовой щелье воет, – буркнул из кожуха Гуляй. – Всем играцам наш игрец! Ни тебе песен дожидаться, ни спать не даст.

– Крыло, бывало, из чехолка пока тянет, сам уже слышит, где нестроение, – добавил другой голос. – Один шпенёк повернёт, сорока вёрст как не бывало! Подмётки горят, ноги плясу просят...

– Будет тебе, дядя Кочерга, снегирька орлиной высью корить, – отравленной стрелкой прозвенел смех Нерыжени.

«Мне дядя Летень не брезговал удары показывать. Гусям Леший неупокоенный отзывался. Что ж вы-то пеняете? И про Крыла сказать не хотите...»

Домашние доблести Светела, его законная гордость, здесь рождали только насмешки.

– Взялся гусли строгать, всё одно лыжа вышла.

– Повизгивает, как об снег.

«Я глянул бы, как ты с гибалом столкнешься!» Светел злорадно представил ущемлённые персты Гуляя. Его нос и своенравную заготовку, раскидавшую клинья. Он знал: это было пустое. Всё прежнее осталось за Родительским Дубом. По сию сторону имели значение лишь воинские начала. Которые Светелу никто давать не спешил.

Ленивый разговор продолжался:

– Люди доносят, весной старый гусельник помер. Знатый делатель был. Последними, говорят, дивные андархские гусли построил. Палубки аж светятся, струнки вызолочены...

Это говорил молодой витязь, носивший древнее и звучное имя: Крагуяр.

– Вот бы посмотреть да послушать, – вздохнул Гуляй.

Ильгра зевнула:

– Знать бы, кому делал?..

– Крылу небось. Кому ещё такие в руки дадутся? Жаль, забрать не успел.

«Не успел?» – наострил уши Светел. Он пытался спрашивать, почему Пернатые гусли называли сиротскими. Его как не слышали.

– Наносная позолота сотрётся, – сказал Гуляй. – Истым золотом игрец сиять заставляет.

«Крыла вашего я слыхал. Тянусь за ним теперь, достать не могу. Только если бы в Торожихе Сквара запел, Крыла, от срама сбежавшего, до сих пор бы искали!»

Самому Светелу играть уже не хотелось, хотя и надо было. Сегар обмолвился о скорой встрече с союзным вождём. Значит, не обойдётся без сравнения гусяров. Светел даже потянулся было за полстью, но спустить струны и закутать гусли не дала совесть. Он словно Жогушке принарядиться велел: перед гостями предстанешь! – а после раздумал, в хоромину не пустил. Руки перебирали, гладили струны... Пальцы очень хорошо знали, где какая тетивка и чего от неё ждать, поэтому пряди голосниц возникали сами собой. Сплетались, сплачивались, обрастали переливами... взывали к словам... «Бредёт вперёд, упрямо брови сдвинув... Мой кровный брат, моё второе „я“...»

– Это что? – сонно спросила Ильгра.

– Это, государыня стяговница, гусли думу думают. Может, песня родится.

Всякий, потянувшийся к струнам, рано или поздно начинает по-своему украшать знакомые песни, затем слагает своё. Плох игрец, избегающий небывалого. Однако Гуляй даже на локте приподнялся. Выпростал из куколя жёсткую бороду. Спросил, будто Светел посягнул на запретное:

– Тебе, олух, кто сказал, будто сочинять можешь?

Светел отмолчался. «Если б я кого спрашивал, могу или нет, вот тогда и пытаться было бы незачем...»

Ильгра спросила миролюбиво:

– Про что песня будет, подъялочник?

– А про то, государыня, – вздохнул Светел, – как мораничи добрых людей в подвалах неволят, за правду голодом уморить норовят... Есть брат, чтоб помочь, да сам голодный. Усы омочить позволяют, в рот – ни-ни.

– Усы, – пискнула Нерыжень.

Косохлёт, вроде основательно улёгшийся, выпростал куколь, стал подниматься. Светел хорошо знал эту неспешность. Пока рожу недругу не искрасит, уж не отстанет.

– Тебя, отрочёнок, прямо сейчас досыта накормить?

Светел торопливо завернул гусли, уложил струнами вниз. Не склеил он Обидным берестяного чехолка, да что уж теперь.

– А накорми, – проговорил он и тоже встал, подбираясь для драки.

«Вот, значит, как у вас науку берут. Ладно, колошматники. Хоть скопом, хоть в очередь. Совсем, чай, не убьёте, а там однажды отвечу...»

Косохлест перешагнул сани. Светел не отвёл взгляда. «Рёбра заживут. Коли повезёт, хоть что уголяжу...»

– Цыц там, – сказал воевода.

Косохлест замер, как пригвождённый.

– Дядя Сеггар... – протянул он с ребячьей обидой. – Но ведь сам вразумления попросил?

Светел тоже гнал прочь досаду. «Почему старики, как за советом придёшь, велят своим умом доходить? А когда вовсе ненадобно, указками сыплют?...»

– Дурень, – продолжал воевода. Светел даже не сразу понял, кому он пенял. Похоже, сразу обоим. – Учить – велю. Сердце срывать не моги.

«Сердце срывать?...» – удивился Светел. А ведь правда, брат с сестрой впрямь будто на горячей печке метались, покоя лишённые. И чем дальше, тем хуже.

«Ну ровно как я, когда Летению последние образцы плёл... Эти-то какого излома день со дня ждут? Призыва к великому служению, на которое Сеггар обоих у себя холит?... Да ну их совсем...»

Раздумья заняли миг.

– Как скажешь, дядя Сеггар, – процедил Косохлест. Негромко, медленно. Светел мигом забыл всё стороннее, руки взвились обороняться. Вышло совсем глупо. Мутное небесное серебро плавилось на длинном, в локоть, боевом ноже Косохлеста. Всё перенятое у Летения закружилось в беспорядке, улетело позёмкой. Сдуру вынутый нож Зарника он тогда отправил в сугроб. Сопляки были оба. Воробышки в пыли. Теперь...

– Да не трясись, не с тобой война. – Косохлест хотел ещё что-то сказать, но Сеггар рявкнул:

– Четверо!

Косохлест прынул влево. Нож пропел, вспарывая пустой воздух. Светел воочию увидел врага, пытавшегося миновать Косохлеста. Не вышло! Враг скорчился, зажав булькающую рану, а Косохлест уже бился с другими. Нет! Биться на любки, мерясь удалью да сноровкой, могут и побратимы. Косохлест – убивал! Разил, калечил, уберегая кого-то безмерно ценного... Взмах! – вскрыены жилы чужой оружейной руки. Обман, разворот! – воеет дурным смертным воем не устерёгший глаз. Кувырок, беззвучная молния от земли – и последнему уже не до боя: весь мир смёл огненный ужас, разверзшийся внизу живота.

Светел снова начал дышать. Такое навзряч схватывать было что переборы Крыла с ходу запоминать. Раскатился бисер, сверкнул, пропал, собери его! Косохлест управился даже не вмиг. В ничтожную половину самого короткого мига. Кто другой красовался бы над телами, напоказ сшибал с клинка ещё не загустевшие капли, примеривался к добыче, – не Косохлест! Юный витязь нёсся прочь, уводя того, кого защитил, и нож в ножны прятать не торопился...

– Ну! – сказал Сеггар, помедлив. Чувствовалось, искал, к чему бы придраться. Не находил. Косохлест, толком не отошедший от жутковатого вдохновения, задел взглядом Светела. Но не выплеснул остатков ярости обидным словом. Просто улыбнулся, будто у самого пропало чирей в душе.

Светел вдруг задумался, какой наигрыш подобал бы его плясу. Такой же стремительный? А может, грозно-медленный?

«Измерцался яхонт мой», – отдался мамин голос. Стонал, приплакивал, хороня все надежды. Хочешь воевать, как Косохлест, начинай дыбушонком. Не жди до десяти годков,

будто всё само обойдётся. Хочешь в гусли играть, как Крыло... да ладно, куда тебе, снежирёк, в орлиную высь! Крылом надо родиться.

Вконец опечалившись, Светел лёг у полозьев, положив под руку закутанные гусли с так и не спущенными сутугами. Его очередь сторожить настанет под утро. Можно будет и шпенёчки сразу проверить.

– Не могла царевна Жаворонок на какой-то переправе простыть, – шептались у соседних саней.

– Не могла. Если хоть вполовину такова была, как наша Эльбиз.

– Наша – Лебедь. Лебеди, вона, посейчас даже на Коновом Вене живут. А жаворонки нежные все в ирий улетели.

Светел заново насторожил уши. Царевна Жаворонок? Он по этой песне гусли налаживал. Второму имени ничто в памяти не откликалось.

– Эльбиз никому себя в обиду не даст, – упрямо, словно отгоняя сомнение, повторила Нерыжень.

– И других отстоит, – сказал Косохлест. – Ты, сестра, не грусти. Это он всё без правды сыграл.

Светел высунул голову наружу:

– Что ещё за Эльбиз?

У соседних санок притихли.

Светел вновь смял щекой куколь. В двойном толстом кожухе лежалось тепло по-домашнему. О какой-то Эльбиз печалиться нужды не было, а вот за мать болела душа. Когда сын обратился к Родительскому Дубу спиной, Равдуша запела. В полный голос, как нельзя петь на морозе. Мама за него-то, глотку лужёную, вечно боялась, когда он на спускном пруду под драку песни орал. А сама!.. Голос крылатый золотые крылышки не познобил бы... Может, сына проводив, сама в жару заметалась? И даже бабушка ума не приложит, как ей помочь?..

Светел не выдержал, сунул руку в санную полсть, вытянул нещечко, обогрел у лица. Тряпичные куколки-неразлучники, что свил ему Жогушка. Двое мальцов, чернявый да жарый.

«Хочешь сказ послушать, братёнок?»

«Расскажи! Расскажи!»

«Ой ты, поле, поле снеговое, не закатный луч тебя кровавит! На закате полем шли герои, алой нитью вышитая слава...»

Знать бы, нашёл ли уже Жогушка Золотые, спрятанные на полке в ремесленной. Нашёл, вестимо. Взрослым принёс. И Ерга Корениха махнула рукой: чего ждать от дурня! А мама в слёзы ударилась...

Светелу ночь за ночью доставалось сторожить самую горемычную стражу. Ближе к утру, когда сгущается тьма, а коварная дрема знай ждёт, чтобы ты на санки присел. Хоть ненадолго. А как не присесть, если с вечера только веки смежил и после – почти сразу снова вставать? Терпи, отрок. Слагай песни, которых никто слушать не пожелает.

Будил Светела обычно Косохлест. Валенком под ребро. «Вставай, мешок! Не у мамоньки на полатах!» Заменяши язвили намеренно, с удовольствием. Старшие витязи за отрока вступаться не снисходили. Светел злился, молчал. Растил навык вскакивать до пинка.

Он и нынче сам выплыл к яви, разгоняя клочья тревожного сна. В этом сне Обидные, уносимые рекой текучего снега, плакали голосом Сквариных кугиклов. Белые пальцы дёргали струны, те жалобно звали Светела, рвались одна за другой. Светел гнался по берегу, никак не мог ухватить...

...А разбудило его не подошедшее время стражи. Всего лишь призрак движения во внешнем мире, за плевой кожуха.

Сна как не бывало! Светел обратился в слух, продолжая ровно дышать. Ждал, чтобы движение повторилось. Дождался. Гусли, обёрнутые войлоком, метила потревожить чья-то рука. Проникала опасливо, по волоску. Чья? Грельник позволял спать с открытым лицом, но Светел с лихвой получил в щель ледяных стрел. Втёр в саднящие веки нежного рыбьего сала, упрятал в меховое тепло... за что, кажется, теперь и платился.

Ясно было одно: рука не чужая. Воришка или подсыл стóброжа не минуют. «Нешто задремал Кочерга? Вовсе душу изронил, знака не подав? Небываемо!» Вдобавок рука не к горлу тянулась. К гуселькам. Шпенёчки повынуть. «Косохлёт! Ну, погоди мне...»

Он дал воровской лапке глубже заползти в полсть.

Молча и разом вскинулся с лёжки. Большой, безголовый от утянутого внутрь куколя.

Ладонь, привыкшая умирять черёмуховые плашки, смяла запястье, неожиданно тонкое. Светел сгрёб вёрткое, гибкое, определённо девичье тело. Вдавил в податливый снег...

По ушам хлестнул крик, жалобный, невозможно пронзительный:

– Братья!.. Насилком насилуют!..

Могла бы дурным матом зря не вопить. Светел уже бросил её, откатился, торопливо простая из куколя голову. Со всех сторон заволокло вскакивали тени. Самая ближняя с силой рванула за кожих, вздёгнула на колени...

Белые искры из глаз!..

Вот он, конец пути. Лютый срам, одинокое возвращение домой.

«Нет уж, – успел решить Светел. – Домой не вернусь. Без вас дальше пойду...»

Руки и ноги что-то содеяли мимо всякого разума. Светел только понял, что уже стоит, а Косохлёт валится через сани, отброшенный неведомой силой.

Коснувшись лопатками земли, заменок взлетел, как танцор, заложивший немислимое коленце.

Пока длился взлёт, Светел умудрился пережить и перечувствовать – на три дня хватит.

Успел сплотить кулаки: довольно голову клонить, не спущу! Убивай, сумеешь небось, да сам рядом ляжешь! Зубами грызть буду!..

Успел ощутить на плече Скварины синяки, услышать больной голос Равдуши. Мятежная решимость опала пеной. «Я сюда не честь брать пришёл. Не буду драться с тобой...»

Снова белые звёзды! В скулу, в ухо, под дых!..

Земля накренилась. Светел ударился коленом о снег, зарычал, выправился, встал. Подметил злое разочарование на лице Косохлеста. Кулак снова летел, брошенный всем весом. Светел подставил плечо. По телу разбежалась волна, он качнулся, переступил, не упал. Исполнился ярой уверенности, понял: с третьего налёта заставит Косохлеста промазать...

Не довелось. Могучие руки схватили за ворота обоих щенков. Расшвыряли в разные стороны.

Светел мигом взвился, выплюнул снег. «И жаловаться, перстом тыкать – гусельки разладили! – тоже не буду...»

Дружина, поднятая криками и вознёй, вся была на ногах и вся смотрела на отрока.

Серебряное ночное свечение успело сползти к окоёму, потёмки заставляли больше угадывать лица, но Светел слишком хорошо успел узнать этих людей. Не глядя видел, где кто. И с чем подошёл.

Вот «безлядвый» Гуляй, вечно раздражённый из-за боли в ноге. Все ему виноваты, а пуще всех отрок. Он сразу обнял Нерыжень, не спросив, кто зачинщик. Хитрой девке даже врать не пришлось. Вот смешливая Ильгра, белой горностаюшкой из-за санок. Стяговница, кажется, всех уже раскусила, но помалкивает: чем ещё развлекут?..

И наконец Сеггар, самым последним, рассерженный, отчего не сумели обойтись без него. У Сеггара на кривом от шрамов лице один глаз открывался лучше другого, темень делала воеводу ещё шире и страшнее, слова падали валунами:

– Кто спать не велит? Где враги?

Заменки смутились.

Отчаяние Светела смыло хмельным восторгом.

– Меня казни, государь воевода. Мне сон тяжкий привиделся, будто к гусям кто лез.

Гуляй крепче обнял Нерыжень. С отцовской печалью поцеловал девичью макушку.

– Завтра день долгий, – чуть повременив, буркнул Сеггар. – Спать всем. Отроку сторожить.

Далеко, в Духовой щелье, немолчно ревел ветер.

Колыбельная брату

На третье утро буря изготовилась совсем сдуть Отавин зеленец. Купол тумана стал рваться, вместо дождя по двору проносились вихрящиеся белые волны. За чёрной девкой, бегавшей то в собачник, то в поварню, то в дальние клети, оставались маленькие босые следы.

Вот в такое утро, когда Отава с семейством совсем не ждали гостей, заполошно разлазались дворовые шавки.

Пурга катила налётами. Серая завеса тумана падала и снова смыкалась. Уверившись, что пятнышки на краю леса впрямь движутся, Отавины домочадцы позвали хозяина:

– Глянь, батюшка.

Миновал снежный приступ, летящие клочья явили старое поле и двоих лыжников, ходко дыбавших к зеленцу.

Передний шёл налегке, тропил. Второй вёз лёгкие саночки.

– Узнаёшь ли? – морщась от колючей куржи, спросил Отава сына Щавея.

– Не обессудь, отик... не узнаю.

Через тын видно было непривычно далеко. Ветер сдувал русые кудри Щавея, открывал над глазом свежий синяк. Десница хозяйского сына была замотана тряпкой, но тетиву держала уверенно. Метнёт стрелу, уж не опрометнётся.

– Маяки, что ли? – предположил Отава.

– Ну не скоморохи же.

– И на лихих не похожи. Те по двое не приходят.

Взбуду в зеленце бить не стали, но крепкие работники помалу собирались к воротам. Кто с топором, кто с рогатиной. Не то чтобы пришлые выглядели прямыми обидчиками. А вот поверенными людьми того же Телепени... «Выноси злато-серебро, копчёных шокуров, яйца утиные! Волей отдашь – охотой возьмём, волей не отдашь – неволей возьмём!» Зря ли саночки приготовлены: богатый откуп везти...

Незванные гости остановились вежливо, на последнем снегу. Скинули куколи, сдвинули меховые личины. Передовой нагнулся отвязать лыжи. Тот, что волок чунки, круглолицый, кормлёный, вышел к тыну. Набрал воздуха.

– Здорово в избу, насельники! Верно ли соседи ваши указывают, будто здесь Отава живёт, сын Травин?

Ответил Щавей:

– А что за дело вам, люди дорожные, до батюшки моего?

– Нам...

Пришлый замялся. Его товарищ выпрямился с лапками в руках:

– Нам-то дела вовсе нету, а вот отцу нашему, великому котляру, дельце малое есть.

Мораничи!

– Ух ты, – осёл голосом Щавея.

Работники начали тихо переговариваться. Глядели на большака. Отава сам с радостью оглянулся бы на кого-то, властного судить и решать, но было не на кого. Стало жарко, захотелось снять шапку, вытереть лицо. Он так и сделал.

– Что встали, лодыри! Отворяй добрым гостям.

Запели скрипучие веревы, торопливо разъехались створки ворот. Для этих захожей не калиточку открывать стать...

Тайные воины вступили во двор.

Дворнягам всюду отзывались в собачнике ездовые упряжки.

Мигом выбежала чёрная девка, сбоку подскочила к гостям. Чистым веничком обмела кожухи, жёсткие от мороза и снега. Сбила с валенок корки, наросшие перед путцами лыж, бросилась чистить саночки. Рубашонка – одни заплаты, ноги грязные.

– Дёшевы нынче рабы, – ровным голосом подметил долговязый моранич. – Беречь незачем.

У него были волосы цвета чёрного свинца, глаза светлые, пристальные.

– Отсталь кощейская, – махнул рукой Отава. – Недокормыши. – Слегка успокоившись, он рад был поговорить о понятном. – Жрут, как не в себя, работы чуть, и всё помереть норовят. Суший убыток, а на ком доправлять? Вы, милостивцы, порно подгадали прийти. Старуха моя уж на стол, поди, собирает. А может, в мыльню с дороги?

Он обращался к длинному, чуя в нём ватажка.

– Нам, хозяин ласковый, не до мыльни... – начал было моранич. Спихватился, кивнул товарищу.

– Орудье наше спешное, не велит мешкать, мыльней да столом-скатертью тешиться, – подхватил круглолицый. – И рады бы вежество соблюсти, да наказано сразу дело пытаться.

Лыкаш уже столько раз повторял вопросные речи, что казалось – до старости будет твердить по зеленцам всё те же слова. А Ворон – безжалостно гнать вперёд и вперёд, гнушаясь передышкой в тепле.

– Отцу вашему перечить не рука, – честно поклонился Отава. – Что же за дело у великого котляра до нашей глуши?

Из дому выглянула невестка. Закричала на весь двор:

– Цыпля, бездельяка! Цыпля!..

Маленькая чернавка кинулась из собачника.

– В сенцах ждать должна! Не дозваться! А ну, живо масло неси!

Девчонка шастнула в дальнюю клеть, со всех ног вернулась с горшочком. Получила затрепину. Упрямо скрылась в собачнике.

Лыкаш излагал причину орудья:

– Стало нам знакомо: славному Эдаргу, Огнём Венчанному, ради его восшествия на шегардайский столец некий человек поклонился двумя красными пирожными блюдами. Ещё знакомо: одно из тех блюд, щедростью доброго царевича, подарено было в Чёрную Пятерь...

Отава явственно приуныл. Всё знают мораничи, не отопрёшься. Лыкаш продолжал:

– Знаемо также: в Беду, попущением Справедливой, оное блюдо было украдено и носимо с торга на торг. Ныне, по орудью, возложенному во имя Владычицы, мы следим его путь, ибо в Шегардае поднимают дворец, и долг всякого доброго подданного – обиходу царскому порадеть.

Лыкаш был готов без запинки перечесть пройденные зеленцы, доказывая Отаве: они с Вороном забрели сюда не наобум. Готов был и к тому, чтобы перечень украсился ещё одним именем, а их с дикомытом вновь приняла бесконечная промороженная стезя. Однако у Отавы с каждым словом как будто кислое копилось во рту. Лыкаш вострепетал надеждой:

– У тебя ли, хозяин ласковый, с царского стола блюдо? Либо, может, нас с братом дальше направишь?

Мораничей редко пробуют обмануть. Безумное это дело – тайным воинам врать. Тщетное и опасное. Лучше выдать правду, пока спрашивают добром.

Из большой избы показалась нарядная девка.

– Цыпля, где ты есть! Прибыю нёслушь!

Дверь собачника хлопнула.

– У меня оно, блюдо ваше, – тяжело выговорил Отава. Не сдержался, добавил: – Дочка вот заневестилась. В приданое хотел... – Отавишна стояла на крыльце, издали поглядывала на захожней. – Каб знать, откуда пришло! Воз гусей мороженных отдал...

В собачнике затеялась свара, донёсся плачущий лай. Что-то беспокоило псов.

Лыкаш важно отмолвил:

– Так мы ведь, хозяин ласковый, не задаром берём. Не в том правда Владычицы, чтобы без вины людей обижать. Мы вознаградить тебя присланы, а не убыток чинить. За то, что сүдну узорочную сберёг.

У него хранилось в тайном кармашке звонкое серебро. Всю первую половину дороги Ворон отучал его чуть что тянуть туда руку.

Дикомыт подал голос:

– Коли так, скажи, Травин сын, сука шатущая не забежала к тебе? Грудь бела, рубашка сера...

– Забежала, милостивец, – вовсе приуныл Отава.

Ворон бросил снегоступы на саночки.

– Позволишь одним глазком глянуть?

А повадка и голос выдавали иное. «Я – моранич. Мне воля!»

– Гляди, милостивец. Полюбится, хоть совсем забирай. Она там отдельно привязана.

Ворон кивнул, ушёл. Щавей без него как будто стал выше ростом.

– Псица тоже, что ли, превеликих кровей? Прямоком со старой псарни дворцовой?..

Собаки при виде чужака взревели всей стаей. Не полошилась только смурая сука, привязанная у двери. Ещё не обжилась, не привыкла. Орудник посмотрел на неё один раз, вздохнул, забыл. В потёмках вскидывались мохнатые тени, лязгали зубы. Коренники, рулевые, жожаки тянули носы в проход, не могли достать, цапались меж собой. Ворон мимоходом потрепал чьи-то уши. В глубине собачника, у щенячьего кута, раскачивалась, припадала на кучу мха, поставившая ещё одна тень.

– Поршбк, – доносилось оттуда. – Братик милый... открой глазки... Поршок...

Ворон подошёл. Девка-босоножка затравленно обернулась, плеснула руками. Съёжилась. Не захотела бежать. Во мху нескладно вытянулся тощий мальчонка. Из угла рта – тёмный пузырящийся потёк. Бесцветный взгляд сквозь кровлю, сквозь облака. Ворон опустил на колени. Ему-то внятен был поцелуй Мораны, бесповоротно осенивший парнишку.

– Кто? – спросил он тихо и медленно, как на морозе. – Большак?

– Батюшка Отава нам отец родной... – заученно пробормотала девчонка. Натянула рукава, пряча локотницы, тёмные от синяков. Вжала голову в плечи.

– Отец бья не прибьёт, отчим глядя кровь пустит, – проворчал Ворон.

– Поршок... с палкой набежал, – выдавила она.

Мальчишка приоткрыл глаза. Для него уже не было страха.

– Щавей, – внятно проговорил он. – Щавей её...

Поршок. Даже не подлётюк. Птеня с палкой на взрослого несытого коршуна. Возложил хищнику синяк на чело. Валялся теперь, обходясь кровью из порванного нутра.

– Братик, – всхлипнула девочка.

– Не больно, – сказал Поршок.

Ворон провёл ладонью по спутанным волосам, по щеке, задержал руку. Боль – примета живого. Материнский поцелуй её отгоняет. Мальчик хотел ещё что-то сказать, не успел, дыхания не хватило. Кровь в углу рта начала успокаиваться.

– Мать Правосудная, всем сиротам заступница... – не спеша отнимать ладонь, прошептал Ворон. – Утешь, обогрей, великим сердцем прими...

Неприкаянная сука возле двери подняла морду, завывала.

Девочка молча следила, как пришлый моранич покрывает лицо брата краем рогожи. Ворон встал с колен, поднял Цыплю, взял за плечо:

– Пойдём.

Она беспамятно прошла с ним два шага, на третьем вывернулась. Метнулась назад, откинула ряднину, стала гладить, целовать лицо брата, поправлять рогожные кули, наброшенные для тепла.

– Поршок... Поршок...

Ворон присел рядом на корточки:

– Его встречает Царица. Кутает пуховыми ризами, чтобы не мёрз больше. Пойдём.

Снова взял её за плечо, поднял. Девчонка отчаянно рванулась из-под руки, не вышло. Попробовала укусить...

Хозяйский сын с работником уже вынесли блюдо из клетки. Огромное, цветущее алыми праздничными цветами. Лыкаш сверил клеймо, придирчиво осмотрел посудину, нашёл целой на удивление. Ни иверин, ни трешин. Вот что значит старое андархское дело! Даже краски – будто вчера запечатлённые печным обжигом. Кто-то заботливый сплёл для тяжёлой и хрупкой посуды плоскую корзину, подстелил мягкость...

Наконец Лыкаш с хозяином ударили по рукам. Молодой орудник вынул кошель, передал Отаве:

– Вот, хозяин ласковый, от учителя тебе щедрая плата.

Отава было взялся отнекиваться. Довольно, мол, чести праведному Эрелису послужить. Потом всё же взял серебро.

– Теперь-то прикажешь мыленку греть, государь вольный моранич? А там честным ладком да за стол, да и переночуете?

Лыкашу хотелось и в мыльню, и за стол, и переночевать. Он мялся. Ждал Ворона. Блюдо привязывали на санки, когда наконец из собачника явил себя дикомыт. Девчонка тарасила глаза, семенила, подпрыгивала, пыталась царапать железные пальцы, поддёрнувшие за ворот. Ворон казался невозмутимым, однако Лыкаш поглядел на его выставленную челюсть – и враз покинул приятные мысли о еде, мыльне, ночлеге. Слишком хорошо знал товарища. Сейчас Ворон что-то учудит, но вот что...

– По праву сына Владычицы я забираю это дитя.

Отава наверняка почувствовал себя обобраным, но не оказал недовольства. Девка была вправду грошовая. Не с мораничами из-за неё спорить. Измял в руке шапку:

– Воля твоя, милостивец.

Чернавка знай молча дралась, ничего не понимая, лишь чая лютого наказания. А вот Щавей сотворил кромешную глупость:

– Далековато воинский путь волю простёр...

Буркнул в ворот себе, только дикомытских ушей ничто не избегнет. Ворон ответил ровным голосом, от которого на Лыкаша совсем напала тоска:

– Ты, обсевок отецкий, Владычице послужить приходи. Узнаёшь, за какие труды мы великой вольностью взысканы.

Сам повернулся в сторону крылечка, откуда любопытно поглядывали Отавины невестка и дочь. Подмигнул. Расправил плечи. Погладил усы. Маленькая кощевна барахталась в его хватке, он на неё и не смотрел.

Девка с молодницей взвизгнули, ухватились одна за другую. Как быть? Под лавками прятаться? Улыбнуться могучему красавцу, принять устами уста?..

– Да уж забирай дурищу, милостивец, охотой отдаю, не нужна, – невпопад ляпнул Отава.

Ворон заулыбался, сделал шаг в сторону крылечка:

– Ты, добрый хозяин, про которую говоришь?

Лыкаш смотрел с любопытством. Вот, значит, как он Иршу с Гойчином забирал. Врали всякое, но досужие вруны ещё не то наплетут.

Щавей налился бурой кровью. Сжал в кулак руку, прокушенную паскудой-чернавкой. Ворон продолжал весело:

– У одной девки был брат, вступиться не уstraшилcя. У другой брата нету. У молодежи муж есть ли?

Ещё шаг, наглый, уверенный. Щавей не стерпел, бросился через двор. Моранич едва обернулся. Лёгкая чернавка покинула твердь, перепорхнула в руки Лыкашу. Щавей близко рассмотрел усмешку на горбоносом лице. Успел понять, что погиб.

В скулу шарахнула булава, утыканная гвоздями. Земля и небо сорвались с мест.

Дюжие работники качнулись было на выручку. Ударились о взгляд моранича, качнулись назад. Все острастки о Чёрной Пятери были правдой. За плечом Ворона ткалась простоволосая мара в понёве, расшитой белым по белому. Кто сунется, вмиг поймёт, что допрежь вовсе скорби не знал.

Отава грянулся в ноги оруднику:

– Не губи, господин... Во всём волюшка тебе... не губи...

Самый противный голос становится у человека, униженно молящего.

– Царица Морана велела сирот миловать, – ответил Ворон. – Ты миловал?

Щавей, схвативший плюху, коими потчевали у столба, обмочившись, полз, корчился, подвывал переярком, свергшимся в ловчую яму. Девка с молодецкой не вынесли ужаса, удрали в избу.

Бывали мгновения, когда юный державец отчаянно завидовал Ворону. Ну вот почему Боги к одним без меры щедры, а к другим... Зависть долго не жила. На поварне хозяйствовать, оно как-то спокойней. Лыкаш вытянул из санок кожух бурого росомашьего меха, один из двух, припасённых на случай плящих морозов. Всунул в него ошалевшую девчонку всю целиком, с босыми пятками: никакой стуже не прокусить. Усадил прямо в блюдо. Небось не тяжелей пирогов, что слуги вдвоём к царскому столу понесут. Она хотела вскочить, бежать, но запуталась. Очнулась, притихла. Отава стоял на коленях, подставлял голову за дерзкого сына.

– Не губи, батюшка... Не губи...

Моранская воля страшна, как метель, властная сдуть маленький зеленец. Ни ратью не встанешь, ни во все глаза не посмотришь.

Ворон сказал:

– Да не возгорчат шегардайскому государю пироги с этого блюда. Во имя Владычицы, ради чести учителя и воинского пути, никто не станет болтать, будто мы здесь без правды развелись. Как ты поступал с птенцом живым, Владычице ведомо. Как с мёртвым поступишь, Она тоже узрит.

Обошёл Отаву, молча миновал Отавиного «обсевка». Лыкаш держал наготове две пары беговых лыж. Выйдя на снег, молодые орудники вздели ирты, быстро понеслись прочь. Только теперь коренастый бежал с санками впереди. Жуткий долговязый держал тыл. Девчонка меховым кульком сидела в драгоценной посудине. Санки кренились на ухабах неторника, девка длинными рукавами хватала края кузова. Оглядывалась на зеленец, где покинул сломанное тело её брат, ушедший к Владычице. Толстый куколь съезжал на лицо, мешал смотреть.

Певчая метель накатывала волнами. Туман на границе тепла затягивался и рвался, то являя, то пряча старое поле. С каждым налётом снега три пятнышка убегали всё дальше. Наконец пропали в лесу.

Девка с молодецкой, обнявшись, ревели в бабьем куту. Открылась дверь – завизжали на два голоса.

– Дуры! – выместил пережитую напужку Отава. – С вас бы не убыло, а я теперь дрова изводи!

В перепутном кружале

Под кровом было тепло и блаженно. Густо пахло сохнувшими валенками, дымом, натруженным телом, добротной едой, псиной, пивом. Открытое горнило печи рдело жарым золотом, гул и треск пламени под круглым сводом вливались в голоса жизни, звучащие в харчевном покое.

Перепутные кружала зовутся так оттого, что ставят их на скрещении торных путей. Никто не хочет жить у дороги. По ней что угодно может явиться, добрым людям ненадобное. Кружало не дом. Кружало на перекрёстке самое место.

Молодые заходни доставили с собой добрый беремок хвороста для печи. Дрова положили оттаивать и сушиться, молодцам же за пособление досталось местечко на скамье, в самом низу длинного стола.

– Гостей жду почтенных, – предупредил хозяин кружала. – Сегодня с утра чаял. Если вдруг припожалуют – им стол. Да без обид мне чтобы!

У него было подходящее имя: Путила. Ворон поставил снятый с саночек меховой свёрток. Раскрыл, вытряхнул худенькую девочку. Доботно приодетую, отмытую от грязи и вшей, но всё равно пугливую, как дикая птица. Она сразу юркнула за Ворона. Спряталась.

– Какие обиды, батюшка, – отрёкся Лыкаш. – Не хочу выпытывать тайного, но что за великие гости?

Путила приосанился. На то затевал разговор, чтоб похвастать.

– Вожей с дружинами жду. Потыку Коготка – слыхали небось? А за ним сам Сеггар Неуступ Царскую дружину ведёт.

– Ух ты! Сам Сеггар!

Распоследнее место за столом не давало видеть печного устья, сюда и столешник даже не дотянулся, но тепло не веяло мимо. Могучее, одуряющее после несчётных вёрст по мёрзлым бедовникам. Ворон и Лыкаш живо сбросили кожухи, растянули на деревянных гвоздях.

– У Неуступа, я слышал, раньше гусяр знатный ходил... – начал Ворон. Лыкаш встревоженно покосился, но Путила махнул рукой:

– Э, парень! Если Крыла слушать прибежал, вороти лыжи. Крыло твой когда ещё к Ялмаку перекинулся. А теперь, говорят, и у Ялмака его нету. Может, за море уплыл, может, на Коновой Вен подался. Ветром носит их, гусяров.

Он кого только в своём кружале не угощал. Умел честь честью принять и заезжего скomorоха, и строгого воздержника, отрицающего забавы.

– Это ж сколько молодцев, один другого прожорливей, – опасливо перевёл беседу Лыкаш. – Чего не съедят, то прочь унесут! Добро ещё, коль заплатят!

Харчевник пожал плечами:

– Не заплатят, вдругорядь возместят. Зато в нашу круговеньку даже Телепеня больше не сунется.

– Это который Телепеня? Кудашонок, что ли?

– Про иного не слыхивали. Вас, люди странные, самих какво звать-величать?

Пускаясь в дорогу, разумный человек оставляет каждодневное имя там, отколе пришёл, но надо же как-то о себе объявлять.

– Меня Круком хвали.

– А меня – Звигуром.

Про девочку хозяин спрашивать не стал.

Греться у печи – опасное искушение. Разнежившись, трудно снова гнать себя на мороз. Тело быстро отдаётся внешнему греву, потом холод за порогом кусает втрое против былого.

Лыкаш и Ворон скинули даже верхние шерстяные рубашки, млели в одних тельниках. Утолив первый голод, Ворон уже не спеша смаковал редьку с капустой. Цыпля успела смориться от сытости и обилия новизны. Пироги с борканом она прежде видела лишь на свадьбе молодого хозяина, какое там пробовать. Облакомилась, уснула, поникнув Ворону на колено. Мешковатые стёганные штанишки, телогрейка из собачьего пуха. Валеночки на вырост, купленные в одинокой деревне, куда разрешил зайти дикомыт.

Лыкаш с упоением наблюдал, как Путила готовил для щедрого гостя особое блюдо, составлявшее славу кружала. На толстой доске вынес плошку с сырыми кусочками мяса и овощей. Накрыв глубокой глиняной крышкой, раскалённой в печи.

– Все девки – козы блудливые! – ревел хмельной голос в левом углу.

Мудрый Путила ставил бражку вкусную и некрепкую. Однако и простоквашей можно упиться, выхлебав бочку.

Лыкаш разглядывал в надтреснутой миске последние оладьи из ситника. И что дёрнуло на троих брать? Упрямый дикомыт не притронулся, а девка – цыплёнок. Здесь оладушки доест, сыскав в брюхе местечко? В путь припасти?..

– Не пойму тебя, – сказал он товарищу. – Из дому бежали, гнал, как от пожара спасаясь. Домой бежим, заячьи петли взялся метать...

Ворон изронил неохотно:

– Орудья довершать надо.

Лыкаш безнадёжно уставился на сизые струйки дыма, завивавшиеся в стропилах. Трапеза начала уже одаривать добрыми мыслями о скалках и черпаках в знакомой поварне, но с Вороном такое разве возможно? Переспорить дикомыта способен только учитель. А напрямую неволить и Ветер бы, наверно, не стал.

– Ты след-от когда видел? Полгода назад?

– С месяцем.

– И будто узнал?

Ворон покосился. Лыкаш давно знал этот взгляд.

– Ты пряностей воньких через год не признал бы?

– То ж пряности! – возмутился Воробыш.

– А то след лыжный.

Время тянулось. Хозяин вёл через сенцы уже новых захожей.

– Верещит, аж с ёлок снег сыплется, сама радёшенька... – никак не смирялся в углу бесчинный гуляка. – Чужой жёнке – башмачки, своей – ошмётки!..

Путила чистой тряпицей поднял приостывшую крышку. По кружалу ринулся чудесный лакомый дух. Ворон сжевал последнее волоконец капусты. Лыкаш щипок за щипком убрал верхнюю оладью, примерился ко второй.

– Слышь... а вдруг этот твой... лапки продал за недостатком?

Ворон непритворно удивился:

– А то я ступень его перепутаю? Может, он косолапость избыл? Правой загребать перестал?

– А самого...

– И рожу я его видел, когда по лесу пугал. Уймись, Воробыш.

Длинные пальцы Ворона обводили, гладили узор на доске. Древодел, сплотивший столешницу, знал толк. Выбрал плахи, где ложная заболонь светлыми полосами перемежала ядро. Сдвоенные начатки сучков, лучики от сердцевины, слагавшиеся в древние письмена... Ещё чуть, и прочтёшь. Постигнешь заклинания травяных кружев, репейных колючек, птичьих следов...

– А вот присушка необоримая, – нёсся хмельной рык. – И душу в белом теле... И юность, и ярость... И чёрную печень, и горячую кровь...

Ворон стряхнул насевшую дрёму. Вытащил маленькие снегоступы, затеянные для Цыпли. Одна лапка была готова совсем, на второй ремни ждали плетения.

- Шумно у тебя нынче, добрый Путила.
- Это разве шум? Всего-то меньшей Гузыня бражничает. Хвойка.
- Вот когда их четверо гуляет, тогда лавки трещат.
- Богато живут, знать?
- Какое! В долг пьют. Что переломают, сами по две седмицы чинят потом.

Лыкаш вдруг откинулся навзничь, мало не слетев со скамьи. С исподу наметилось движение, его тронули за ногу. Цыпля вспрянула от толчка, молча ухватила за Ворона. Другая бы в крик, но кощевну жизнь давно отучила. Ворон заглянул вниз.

Навстречу шибануло смрадом, коему никак не место в храме харчевном. Из-под стола на карачках выползло чудище. Сошло бы за крупного облезлого пса, но вместо шерстяных колтунов обвисали лохмотья бывшей одежды.

- Это что?.. – вырвалось у молодого державца.
- Раб Путилушкин, – ответили из-за ближнего стола.
- Под игом дёшево взял. Думал, помощника покупает, а оно вон как.
- От доброты людской кормится, подаванием.
- На что ж убогого привёл?
- Да он тогда как мы с тобой был. Тощой только.
- Худоба не беда. Были б кости, мясо пищамя нарастёт.
- Огни в небе горят, – прошамкала несчастная кáлечь. Об пол стукнула деревянная

плюшка, культяпая рука ткнула в потолок. Все неволей посмотрели туда же, но увидели только две ложки, засевшие в трещинах черенками. – Огни горят... Острахиль-птица голосом кличет!..

Космы распадались надо лбом патлами. Ни носа, ни ушей, щёки в язвах. Лыкаш неволей понизил голос:

- Кто его так?..
- А сам, дурным делом. Послал хозяин за чёрной солью в Пролётище. Дорогу растолковал. А дурень услышал от кого-то, будто Ура́зищами короче. Придумал кинуться напрямки. Кощей, южанин, что с него взять!

Ворон поднял голову от работы:

- А в Уразищах что?
- Ты, парень, знать, вовсе издалека. Сам не сунься смотри.
- Сделай милость, поведдай нашему неразумию. Там что, волки-самоглоты стаями бродят или мороз трещит небывалый? Снег текучий с холмов сойти норовит?
- Огни горят... Острахиль-птица голосом кличет...

Едоки неловко переглянулись. Ответили честно:

- О тамошних погибелях, паренёк, нам толком неведомо. Мы туда не ходили, а кто ходил, не расскажет. Этот вот как-то выскочил, да лучше бы совсем не выскакивал.

Жестокой истине никто не стал возражать. Лыкаш пальцами разорвал половинку оладушка, бросил в плюшку рабу. Тот жадно приник, зачавкал по-собачьи. А как ему ещё, если руки беспальные.

– Два яичка в моху, палка наверху, – похабничал пьяный Гузыня. – Что таковó? А глаза в ресницах и нос!

Гости досадливо морщились, но шунять не спешили. Детинушка был саженного роста, кулаки жернова. Осердится, в подпол сквозь половицы уронит.

- Девки в мыльне распалились, – орал Хвойка непотребную песню, – выбегали на мороз!..
- Лыкаш спросил вполголоса:

– А если Путила... твоего... в то дальнее Пролётище послал? Седмицу велишь скамью здесь просиживать?

– Не велю.

– Так он...

– Он следопыт. Его чаемых гостей послали встречать. С утра жданных.

Лыкаш посмотрел на Цыплю, снова задремавшую на колене у Ворона. Ощутил некоторую ревность.

– Хорошавочкой поднимется, – сказал он спутнику. – Ленту в косу вплетёт, тогда, может, мне голову на плечико склонит.

Дикомыт усмехнулся:

– Не к тебе в поварню веду.

– А куда?..

Вопрошание повисло. Ворон забыл про товарища, прислушиваясь к разговору в сенях. Лыкаш тоже наострил уши. Путила кого-то громко бранил, в сердцах обзывал слепым, глухим и никчёмным. Виновный немовато оправдывался. Потом дверь открылась. Чуть косолапя, вошёл неудачливый следопыт. Внёс кожух, пегий от инея. Против бывшего Порейка выглядел потасканным. Отвыкшим от сытости и веселья.

Недовольный Путила кивнул ему на Гузыню, выместил недовольство:

– Сходи уйми.

Ворон улыбнулся.

У Лыкаша враз пропала из живота приятная тяжесть. Дикомыт собирался довершить орудье. Вот сейчас. Вот прямо сейчас...

– Кожухи готовь, – негромко приказал он Лыкашу. – Пойдём скоро.

Беловолосый Хвойка занимал весь угол. С прочими братьями, верно, заполонил бы кружало.

– Я к милёночке ходил по лесной тропиночке, – выводил он мимо всякого ладу.

– Мир по дороге, друг мой, – подступил к нему несчастный Порейка.

Веселье Гузыни, по обычаю пьяных, легко обратилось злостью. Он шатко полез из-за стола:

– Тебе, приболтень, кто позволил песню ломать?

Порейка потянулся было... Рука, ловко протыкавшая копьём снег, людей, оботуров, не улежалась на могучем плече. Порейка спиной вперёд отлетел прямо к скамье, откуда вылезали орудники. Кровь из носа брызгала на рубаху. Лыкаш подхватил Цыплю, Ворон поймал падающего работника. Удержал, чтоб тот голову о столешницу не расшиб. Поставил на ноги:

– Журиться оставь. Беды не замучили, а победушки минуются.

Хлопнул жалеючи по спине. Пошёл с Лыкашом вон из кружала.

Ночёвка в зеленце

– Гуляй! Слышь, Гуляй! Как мыслишь, друже? Ещё помнит любушка, как ты за неё морды расписывал?

– Была любушка. Теперь – мужатая бабонька.

– Небось в молодёнушках толком не покрасовалась, без поры дитё родила...

– Сыночка. Горластого.

– С пелёнок ворчливого.

– Только что не хромого.

Гуляй хмыкал, расправлял плечи.

– Уйдём, знамо, снова родит.

– А муж на беседу не пустит?

– Не пустит, значит, другой ныне рожать.

– Да не ей одной...

Места кругом были праздничные. Почти не сгубленный лес, на соснах полно длинной хвои, хоть в щёлок опускай да пряжу сучи. Беговые ирты лихо мчат по звонкому черепу, саночки на долгих спусках норовят погонять. Впереди у сеггаровичей ночёвка в дружеском зеленце. Печное тепло, жар мыльни.

Торопливый огонь любовных объятий...

– Эй! Незамайка! – Это обращались уже к Светелу. – Ты, кроме плачей дикомытских, из своих гуслей можешь что-нибудь высечь? Плясовую весёлую?

– Могу, – отвечал Светел надменно. Сам тотчас задумался, как бы не оплошать.

– Вот когда Крыло с нами ходил, бывало, только заиграет, вся краса молодая из круговеньки бегом спешит, – улыбнулась воспоминанию Ильгра. – Как-то ныне получится.

«Да я!.. А правда, получится?..» Светел попытался навскидку вспомнить хоть одну песню. Память была пуста.

– Прежде Боброк в Путилино кружало возами битых уток да гусей отправлял.

– И теперь небось отправляет.

– Значит, голодны не уйдём.

– Перины пуховые доведётся ли, братья, опробовать?

– Хороши калачи были в Твёрге. Бобрёнушки таких напекут ли?

«Жди! Кишка тонка против наших калашниц!»

– Мыльню нагрели бы. А без калачей проживём.

У Светела зачесалась кожа под правой ключицей, в ушах отдалось давнее предупреждение: «В мыльню с ними не соблазняйся!»

«А позовут, атя, что делать? Сказать, обет принял мыльни не ведать, пока брата ищу?.. – При мысли о лжи чесотка разбежалась по телу. – Дай совета...»

Бобров зеленец выглядел таким же нарядным, как и уголья вокруг. Горячие ключи отгоняли мороз от круглого озера с полверсты поперечником. Доброе озерко. И рыба на простор не уйдёт, и птице кормовище, и спускных прудов не надо чистить, как в Твёрге. Легко и весело, наверно, жить в таком зеленце. Правда, котляры могут нагреть, как в Житую Росточь. Но такой поезд объезжает Левобережье раз в пять или семь лет. Невелика боязнь. Иным и за радость.

Наслушавшись про былую доблесть Крыла, Светел загодя вынул чехолок с Обидными из поклажи. Сам видал, каким гордым гоголем Крыло входил в Торожиху. «Где нам, валенкам, за красными сапогами гоняться. Но уж чем горазды, не утаим...»

Дружину ждали. Путников вроде сеггаровичей вести нередко обгоняют, особенно в знакомых и дружественных местах. С последнего взлобка было хорошо видно, как из тумана повалил навстречу народ. Принаряженные мужики с бабами. Парни, снедаемые ревностью пополам с любопытством. Девки в заячьих шубках, едва брошенных на плечи, чтобы не прятать браньё, вышивку, дорожку покупную тесьму.

И бесстрашная ребятня, никак не согласная отсиживаться по избам.

Захожни во главе с воеводой катили вниз по длинному, не меньше версты, отлогому склону. Радостно бежать по такому домой – с добычей, с добрыми новостями. Радостно и снизу смотреть, держа руку у сердца. Вот-вот объявится желанный, болезный! Светел увидел себя и своих глазами местничей. Давно ли сам, как вон те недоросли, ждал заветного «Идут!..» и не верил, что дождётся. А небываемое сбылось, и уже он ловил взгляды, полные зависти и ожиданий, и всё было ясно и удачливо впереди.

Когда сделались различимы лица, на мороз вышел большак. Встал впереди, опёрся, как подобало, на резной посох. Высокий, с умным и красивым лицом, опрятный, крепкий на вид, как всё его племя. Светел мысленно поставил твёржинцев рядом со здешним человеком. Вдохнул: куда диким соколам против домовитых бобров. «Зато нас гнездарями не кличут, ручным племенем. Мы славе наследуем. Той, что на Смерёдине, на Кровавом мосту...»

Сеггар, шедший первым, лихо вскроил иртами снег прямо перед старейшиной.

– Здорово в избу, брат Боброк.

– Поди пожалуй, брат Неуступ, – раскатисто отозвался большак.

Они с Сеггаром обнялись, стали хлопать один другого по спине.

– Давненько ты нашими местами не проходил. Года полтора, почитай.

– Ныне в Путилино кружало спешу. Потыка Коготок встречи ждёт.

– Не поле огораживать ему идёшь? – почти по-настоящему испугался большак.

Сеггар засмеялся. Светел, кажется, впервые слышал, как он смеётся.

– Не моя это вера – на младшего побратима в поле вставать.

Боброк обводил взглядом пришлое воинство, улыбался, кивал... вновь обшаривал. Кого-то не находил.

– Первый витязь твой... Летень Мировщик, – не зная, как подступиться, выговорил он наконец. – Люди разное бают...

Ильгра оставила перемигиваться с парнями.

– Что же, примером?

– Да такое, что вовсе не верим. Будто злым дикомытам его продали, как кощя. Будто его кровью на удачу снег кропили при начале похода...

Деревенские помалу брали витязей в круг, парни важничали и робели, девки прятались, но сами цвели маковым цветом, глядели во все глаза.

– Люди правды не ведают, знай врут без стыда, – прогудел хмурый Гуляй. Среди местничей бочком переминалась полнотелая молодуха, он на неё косился, не подавал виду. – Вот как истинно было: Летеня мы на морозе бросили, надоел.

– Тебе, Гуляюшка, те не надоедают, кого по году не видишь, – долетел задорный бабий смех.

– Да что ж я вас, с дороги усталых, у ворот держу, – пристукнул посохом старейшина. – Поди пожалуй, государь Неуступ! Уж и мыльня согрета про вас, и хлеб напечён. Будем столы столовать, беседы беседовать...

Вновь прозвенел бабий голос, трепещущий весельем:

– И псов из собачника по дворам уже разобрали. Мха свежего, мягкого навезли ночлега вашего ради...

Дружина начала снимать лыжи, ближе подвигаться к воротам.

– У меня гусяр снова ходит, – похвастался Сеггар. – Крыла не вернёшь, что теперь. Отрочёнка вот взял. Погляжу, будет ли толк.

Вся деревня уставилась на отрочёнка. Светел востроился, расправил грудь, покраснел, опять забыл все песни до единой. Боброк мазнул взглядом, как-то недовольно, словно радостная встреча оказалась подпорчена.

– Ты вот что, брат Неуступ... – выговорил он через великую силу. – В походе над тобой воля Божья, больше ничья. А тут, не серчай уж, место моё и устав мой. Покинь, ради Владычицы, за тыном отрока своего. Не надобно нам, по вере нашей, ни гусяров, ни струнного звону.

Светел рухнул с неба на землю. «С чего вообразил, будто своим стал...»

Сеггар остановился у самого тумана. Тёплый влажный воздух веял в лицо.

– Усерден ты стал в вере, брат Боброк.

– Станешь тут, – пояснил большак неохотно. – Отавин зеленец помнишь?

– Как не помнить. А что?

– А туда мораничей нанесло. С воинского пути. Сущее разорение учинили.

Обиды Светела рассыпались морозными бесплотными блёстками. «Мораничи! С воинского пути!»

– С чего вдруг? – спросил Сеггар спокойно. – Нешто детище сговорили котлу, да в срок раздумали отдавать?

– Если бы! Врасплох пришли силой ратной. И ну Отаве пенять: украл-де царское блюдо, тотчас вынь да положь. Сына, Щавея, избили всего, посеячас пластью лежит. Только его Отава женил...

– Сам ты тех мораничей видел?

– Не видел, – содрогнулся большак. – Миловала Правосудная. Слышали только, старшим был Ворон злолютый. Этот где ни пролетит... Хорошо ещё, не пожёг, как Лигуя в Поруднице! – Помолчал, вздохнул, довершил: – Ты прости уж, брат Неуступ. Щавея за весёлый нрав изломали-искровянили всего, а моим чадам какую казнь сотворят, дознавшись, что я гусяра при-вечал? Далека Чёрная Пятерь, да от Владычицы не укроешься... Сам знаешь, люди горазды по-своему перетолковывать! Как есть донесут, будто мы всей деревней Матерь Правосудную срамословили, хульные песни орали!

Сеггар задумчиво кивнул:

– Твоя правда, друже. Твоё место, твоя вера – закон... Ну а моя вера – где один из нас, там и знамя. Вороти лыжи, ребята. За Ярилиной Плешью встанем.

Светел настолько погрузился в ничтожество пополам с незримым геройством, что не сразу поверил. А поверил, сердце счастливо трепыхнулось, и окатило стыдом. «Это ради меня, значит, дружина без тёплой ночёвки дальше беги? Я же что, мне по-куропаточьи, у санок, дело привычное...» Хотелось об этом сказать. Вправду остаться одному на морозе: что дикомыту здешний мороз!.. Совесть требовала говорить, но Светел смолчал. Отроку след безмолвствовать, принимая волю вождя. А вредные замены всё равно найдут чему посмеяться.

Сеггар впрямь хорошо помнил здешнюю круговину. Ярилина Плесь лежала на другом конце удожья, за озером. Пока шли, Светелу жгуче хотелось немедля совершить подвиг. Отплатить витязям за жертву. Однако подвигу всё не было места, никому даже простой подмоги не требовалось. Как только поставили огородам сани, он подошёл к Неуступу:

– Благословишь ли, государь воевода, рыбу стружить?

А сам жалел, что не в силах дополнить походную снедь ничем лакомым и желанным. Разве только свой калачный сухарик тайком вождю подложить?

Сеггар отмолвил:

– Ты, гусяр, струночки натягивай. Бряцай что пободрей.

Воевода впервые назвал Светела гусяром. Впервые прямым словом велел играть на привале.

– Чтоб задором сердце кипело, – стукнул по колену Гуляй.

– Чтоб хмель в голову, – уловив тайный смысл, пожелал Крагуяр.

Кочерга воздел перст:

– Чтоб ноги плясу просили.

– А руки – объятий... – Ильгра потянулась, повела плечами так, что метнулась седая коса. Будто не тридцать вёрст с утра пробежала – с пуховых перин разнеженная поднялась.

Светел и сам наполовину догадался о чём-то. Живо спрятал доску и нож. Размотал полстину. «Эх, руки-сковородники, голос-корябка, да к ним – дрянная снастишка! Держись, дружина! Повеселю...»

Обидные гусельки, в эту ночь не потревоженные ничьей злодейской рукою, лишь чуть похныкали – и заладили, взяли удалой строй.

– Шибче, гусяр!

Гуляй оставил мять вечно ноющее лядвие, первым вышел на утопанную середину. Сразу стало видно: до встречи с вражьем копьём был плясун, каких поискать. Из тех, кому под ногу верно сыграть – что выстоять в поединке. Не ходить витязю без железного тела, а в чём тело норовит отказать, то воля восполнит. Гуляй плясал со всей мужской страстью. Звал к себе бабоньку, не дождавшуюся от него золотых бус. Требовал на смертный бой всех повинных в разлуке. Может, завтра Гуляюшка вконец охромееет, может, Светелу скажут его на санках везти – пропадай душа! По кругу впрыскаючи, да отбивая, чтоб снег гудел: можешь переплясать – выходи!..

Дружина отвечала его удали неистовым воплем. Витязи хлопали, свистели, колотили в щиты.

Могучего Гуляя сменила гибкая Нерыжень. И тоже погнала Светела так, что поди успевай: кто кого! К её ножке Светел принаровился влёт, может, оттого, что вспоминалось тонкое тело, рванувшееся из-под него тогда, возле Духовой щельи. На миг родилось искушение сбить девке пляс, но, мелькнув, пропало тенью с плетня. Не тот день! Не та притча!

За сестрой выскочил Косохлёт.

– Гусельки починить надо, – важно выговорил Светел.

– Да они у тебя... – бешено начал Косохлёт. Хотел, наверное, брякнуть: «Всё одно бестолковые», но поносных слов метнуть не успел. Подоспевшая Ильгра залепила парню рот таким поцелуем, что в ближних ёлках охнуло отзвуком.

Светел, улыбаясь, натягивал пятерчатки, связанные нарочно для игры на морозе. В них руке было привычно, как голышом. Дурак, сразу не позаботился надеть, да всё к лучшему: подразнил Косохлёста. И вот пальцы снова взмыли над струнами, десница ещё и вооружилась, для звучности, жёстким берестяным лепестком: теперь – хоть до утра!

Косохлёт выплясывал сперва зло. Метил неожиданным коленцем сбить гусяра с ладу. Потом разохотился, рванул уже от души, с молодым огненным пылом. Ладонью оземь, чтобы шевельнулись в глуби спящие корни! Ногой об ногу над головой, лишь снег с валенок! Кто не уберётся, поглядывай!.. А там – по кругу влёт, ноги ножницами, соперникам на посрамление, душе-девке на радость!

К тому времени гусельные трепеты подпирало скопище голосов, хриплых и сиплых, не очень слаженных певчески, экая важность! Гуляй, обычно угрюмый, трубил, вздувая жилы на шее:

Удалую нашу силу
Нешто ржа теперь взяла?

Косохлѣст ещё выбирал, кого вытянуть за собой в круг, но тут отзвук за ёлками ожил настоящим человеческим голосом:

Сколько леса изрубила,
Крепче дуба – не нашла!

Все, кроме занятого Светела, туда повернулись. В санный огород выплыла отчаянная бабёнка, не усидевшая в благолепии зеленца, за рукодельем под моранские воздержанные хвалы. Хвойные лапы за спиной статёнушки долго не успокаивались. Мелькал то расшитый рукав, то браный подол.

Косохлѣста сдуло, как комара. Гуляй, невнятно взревев, рванул к зазнобе. Пришлось Светелу бросать неконченный наигрыш, спешно вспоминать всё учёное для Затресья, где тайком от родительской строгости плясали четами. Затеял бряцать первое, что явилось, не по порядку, – «девки нарасхват». Ох же ты! И не угадывал, а как угадал! Из ельничка посыпалось неустрашимое бобровское женство. Кто охотно и бойко, кто – для виду противясь смешливой мужской силушке. Одних тут же повели витязи, других укрыли в объятиях бдительные мужья. Плясать четвёрочку умели не все. Лучше прочих управлялись Гуляй и его друженка. Прочие силились подражать, сталкивались, отряхивались, дальше плясали. Задор полыхал вовсю, обращал смехом обиды.

Светела, сросшегося с гусями, некому было сменить. Нос вытереть недосуг! Он начал уже уставать, когда померещилось: к струнным гулам примешался щебет кугиклов. После Торожихи Светел уже не так терял разум, услышав цевницы, но всё равно завертел головой: кто?.. где?.. Благо разогнанные руки играли сами, без водительства разума, а то непременно сбился бы с ладу. Кугиклы, словно смутившись, примолкли, потом снова запели, подхватывая голосницу.

В точности как Сквара когда-то «подгукивал» деду Игорке.

«Так вот чего ради всё затевалось! Чтобы я брата вспомнил...» Кто стоял с кугиклами, Светел так и не понял. Зато, озираясь, метнул взглядом вверх...

Увидел большого ворона, замершего на маковке ели.

Чёрная птица ни голосом, ни движением не оказывала себя на чужом празднике, лишь внимательно следила людское веселье. От взора умных бусинок сердце дрогнуло скверным предчувствием, почему?..

Светел ещё раздумывал об этом, когда плясавшие начали сбиваться с ноги. Близящийся крик, бабий визг, ругань! Вроде даже шлепки посоха по толстым шубам и кожухам! Светел покосился на воеводу.

– Погоди, гусяр, – сказал Сеггар.

Светел отнял от струн берестяной лепесток, размахившийся, всё равно скоро бросать. В санный огород вступил разъярённый Боброк, за ним ближники.

Вот чья палка охаживала резвый народ! Отучала посрамлять бесстыжим весельем моранскую чинность и его, большака, всей жизнью нажитое старшинство!

Сеггар усмехался, глядя на приближение грозы.

– Что творишь, брат Неуступ? – трудно перевёл дух осипший от брани Боброк. – На что людей сманиваешь?

– Я сманиваю? – хмыкнул воевода. – Твоя вера – виниться да плакать Владычице, моя – радоваться, долгие труды одолев... Я для того ушёл за две версты, чтобы святую печаль твою не теснить.

– Ушёл, значит! А разыгрался, распелся затем, чтобы моих чад не смущать?

Да хоть он посох свой совсем о спины сломай. Его страх перед моранским всеведением был бессилен против стихии, гулявшей у Ярилиной Плеши.

– А у нас уж мыльня даром простыла, – ничего не стесняясь и не страшась, запустил бабий голос.

– Ещё вытопим! Жарче прежнего!

– Собачник веткой можжевельной окурен, мох свеженький, неизмятый...

Светел видел: старейшина колебался. Мог, верно, загнать местничей в зеленец. Согнуть, поднять своей волей, на то он и большак. Но всякий вождь своим людям принадлежит точно так же, как они ему принадлежат, и, бывает, приходит время вспомнить об этом.

– Эх! Пропадай голова! – выкрикнул Боброк голосом, с каким впору шапку оземь метать. – Ныне гуляем! А нашлёт Владычица казнителей, мой ответ!

– И гусяря зван? – шальным голосом спросила Ильгра.

Светел отдыхал, улыбался, шмыгал носом. Растирал пальцы в вязаных пятерчатках.

– И с гусярями! – ответил старейшина. – Семь бед – один ответ.

Сеггар поднялся с саночек.

– Вот тебе моё слово. Чтобы Правосудная вовсе не осерчала, у ворот мы гусельки спрячем. Дабы ты, брат Боброк, если что, мог сказать с чистой душой: соблазнились, виновны. Но в ограде – ни-ни. Не осквернились.

Обрадованные бобрята потянулись в сторону зеленца.

– Ой, ножки болят, – тотчас загомонили сметливые девки, не вдосталь наплясавшиеся на краденном празднике. – Не можем быстро идти!

Светел накинул было алык, но саночки у него отобрали.

– Дотянем уж как-никак. Ты играй знай, играй!..

Когда людская вереница под песню и немолчные звоны двинулась к зеленцу, ворон снялся с ели. Покружился, полетел на закат.

Где мелькнёт над жилым двором – быть несчастью. Где с криком промчится, там покойника жди...

Воеводское слово кремень. У ворот Светел спустил струны, закутал Обидные. Снова стал простым отроком, безропотным, бессловесным. Пока вдругорядь готовили мыльню, Светела назначили сторожить. Негоже добру, а главное, воинской справе лежать без присмотра.

– Сменим, – милостиво обронил Косохлест. – Погодя.

Это значило, что мыльни и накрытых столов Светелу не видать. «Ну и ладно. Всё равно ничего вкусней маминого калача не сготовлено...» Светела ещё возносило гордое чувство: а совладал! а не посрамил!.. Возносило, помогало мелкие невзгоды прощать. Съеденное на пиру пройдёт черевами. День минул – и нету его, а нынешние песни под ёлками не скоро в памяти отзвучат.

Деревня была устроена как один большой двор. Избы, клетки, ухожи – всё под кровом, всё опутано переходами. Сразу видно, большая семья живёт. Одного рода потомки. Потому, может, и дружину так привечают. Зеленец уединённый – откуда сватов ждать? В Твёрже иначе. Там всё же дальние крови вместе сошлись. Не односемьяне – шабры.

Со стороны общинного дома наплывали снедные запахи, сдержанно гудело веселье. Кто-то из бобровичей, отмещая недавний плясовой разгул, густым голосом тянул святую хвалу. Светел слушал, снова думал о брате. Гусельное буйство в нём отгорало, понемногу клонило в сон. Светел слезал с санок, обходил двор, разминал спину и плечи. Между тем страсть, рождённая от натянутых струн, отнюдь не заглохла, лишь проточила новое русло. По тёмным переходам мужской смех переплетался с девичьим. Двойные размытые тени проскальзывали в собачник, не спешили наружу. «Совет да любовь, а я стороной!» Но на сей счёт у Светела тоже имелись воспоминания. От них неволей становилось страшно, жарко и сладко. Он даже вздрогнул, когда из общинного дома с миской в руках вышла девка и направилась к нему.

– Не побрезгуй угощением, господин витязь. Повечеряй.

Рука сама дёрнула ложку из поясного кармана.

– Благо, славёнушка, твоей доброте... Только я не витязь ещё. Так, пászербок. Отрок дружинный.

Румяная каша, заправленная козьим маслом, блаженно исчезала прямо во рту, не достигая брюха.

– Мне ваш чин воинский – звук пустой, – отмахнулась девка. – Я одно видела: ты, над песнями сидя, светился весь.

Она была статная. Круглый подбородок, губы уголками вверх. Такая сама дров наколет, сама поднимет копьё да любого обидчика и насадит. А мужу семерых сынков народит, крепких, как колобки. Светел даже заробел слегка такой женской власти. Вспомнилась Полада, стыдливая, тихая, отчего бы?... Девочек пойми! А бобрёнушка продолжала:

– Тебе б гусельки поголосистей вместо этих, гнусавых. Не сам ли долбил?

– Сам...

– Беда поправимая. – Девка села рядом на санки. – Вас воевода в Пролётище наниматься ведёт? Заработаете, ты попроси, пусть купит тебе добрый сосудец гудебный. А пока растолкуй, умишком не постигну, чем тебя мои кутиклы так напугали? Чуть гусли не выронил! Сдумал, тебя слушать забудут, ко мне лицо обратят?

«И гусли у меня гнусавые. И сам я дурак...»

– Не, – отрёкся он вслух. – О том даже не думал. Братёнок мой кутиклами тешился.

– Брат? Снастишкой девичьей?

Светел было насупился, смекнул отшутиться, пусть неуклюже:

– На то парень, чтоб девичьей снастишке радоваться.

Посмеялись.

– Что за боль у тебя о нём? – совсем другим голосом спросила приметливая кутикальщица. – Нешто к родителям младшенького проводил?

Светел выговорил упрямо:

– Живой он. В плену мается.

Не помянул котляров. В деревне, где насаждено моранское поклонение, их не хулить стать.

Она коснулась серых треугольников на его поясе, означавших решимость:

– Вот, значит, откуда узор. А я гадаю стою.

– Я отроком в дружину пошёл, чтобы всему научиться и его вызволить. Хочешь, покажу?

Ярое вдохновение снова в нём расходилось. Руки, толком не остывшие от живых струн, просили если не объятий, так оружия. Светел вытащил поясной короткий ножик, велел числить боевым длинным клинком:

– Витязь один правило намеренно творил... Вот, гляди, вороги спереди посягают! Раз!

И прынул вправо, где обозначилось Лихарево скоблёное рыло под бледными волосами. Думал с лёту повторить Косохлёстовы чудеса возле Духовой щели, куда! Всё легко, со стороны гляючи! Боевой пляс Косохлёста поражал страшной наполненностью движений, у Светела руки-ноги барахтались сами по себе, без ладу, без толку. Тело отвечало медлительно, тяжело, неумело. «Ах вот ты как?..» Не поспеть с ударом было просто нельзя. Светел весь вложился в порыв... Бритые скулы Лихаря густо залила кровь. Недосуг мешкать! Слева подходил Ветер, и уж этот ножом владел – Лихарю во сне не приснится. Какое там правило Косохлёстово! Ветра не угадаешь, не понадеешься... Броску Светела вздумал противиться самый воздух, вдруг ставший густой липкой топью. Это надвигался предел. Проломить его, и придёт великая ясность. Светел кинул нож из руки в руку, выгадывая с ударом...

Дверь собачника скрипнула, отворяясь.

...Мёртвый Лихарь, Ветер, сбережённый тонкий волосок жизни, и кто там был ещё – рассеялись в воздухе. Светел оглянулся.

Через порог наружу перешагивал Сеггар.

Окатил стыд. Чем занялся! Поставленный стражу стеречь, перед девкой красоваться надумал. А она, поднявшись, ещё и взяла его за плечи, звонко чмокнула в щёку:

– Ты возвращайся, гусяр. Брата приводи. Глядеть стану, который пригожей.

Взмокший Светел трудно дышал, ждал руганицы. Неуступ молча уселся. Вынул из-за пазухи большую завитую раковину. Приложил ухо, стал слушать далёкое море. Долго слушал. Наконец спросил:

– И чего ты от меня хочешь, отроча?

Ответить было просто.

– Науки хочу, государь воевода. Начал воинских.

– Науки, – усмехаясь, будто Светел рёк несусветную глупость, повторил Сеггар. Вдруг оставил всегдашнюю неторопливость, бросил Светелу каёк: – Яви, много ли у Летения перенял.

Среднего Опёнка вновь подхватило наитие. Он стоял у черты, когда уже ничего не боишься, ничего не ждёшь и оттого-то всё получается. Голос зазвенел струной:

– Левой или правой явить велишь, государь? А то второй каёк давай, в-обе-ручь встану!

Снова охнула дверь. Поступью сытой кошки выплыла Ильгра. Всё сразу увидела. Подошла, братски села с воеводой – нога на ногу. Выгнула бровь:

– Да он, ума палата, в поле двумя мечами изыществовать собрался?

Сеггар подпёр кулаком бороду.

– На оборучость многие посягают, а толком – одного Крыла и видали.

– До Крыла с мечами, как с гусями: тянись – не дотянешься.

«И тут Крыло. Он, что ли, витязем был?..»

– Где вранья наслушался, будто оборучьем пуще всего победно и знаменито?

– Ну не от Летения же, – усомнилась Ильгра. – Тебе, солнышко, кто глупостей в уши напел?

Светел упрямо насупился:

– Никто не пел, матушка стяговница. Сам изведаль, самому полюбилось.

– Сам! Изведаль!

– Ты, детище, хоть сумей в руках не запутаться. А ну пройдишь! Назвался окунем – полезай в сеть!

Светел бестрепетно взял второй каёк и пошёл. Как тысячу раз дома хаживал. В одиночку на всё тайное воинство с Ветром и Лихарем во главе. Шаг! Левый меч сам оборотился клинком вниз. Шаг! Скосил, вспорол! Шаг, разворот! По земле вихорем, вы мне повоюйте без ног! Шаг, прыжок! Всем головы с плеч!

Он не видел, как у него за спиной переглянулись воевода и воевница. Ильгра встала с той же кошачьей плавностью, глаза разгорелись:

– Будет воздух кромсать. На меня замахнись!

Светел обернулся. Успел заметить: она плыла к нему совсем безоружная. Пока он смекал, как тут быть и можно ли на неё, безоружную, замахнуться, Сеггар поднял руку:

– Стой, Ильгра.

От общинного дома шёл старейшина Боброк. Завтра он отправлял в Путилино кружало две нарты мороженой птицы. Воевода брался доставить, оплачивая за щедрый приём. Светел стоял пугалом, глупо разведя руки с мечами, вновь превращёнными в два деревянных кайка. Невелик труд догадаться, кому одну из этих нарт всю дорогу тащить.

Встреча

В Путилино кружало можно добраться разными дорогами, но удобней всего, да с гружёными нартами, – по заснеженной речке. Светел с любопытством смотрел под ноги. Хожалые тропы витязям давненько не попадались, жаль, чело дружины изрядно затаптывало след. Насколько сумел различить Светел, после метели встречу пробежали всего два человека с нетяжёлой поклажей. Отменные лыжники, дыбали шаг в шаг. Только по рубчикам от кайков и поймёшь, что вдвоём прошли. И санки у них были хорошие. Поворотливые, на ходу невесомые. Вроде тех, что сам Светел сработал перед уходом из дому.

«Сказывала бабушка Корениха: я, мол, знаю, куда я иду, а все-то куда?.. Вот прошли, разминулись, а кто они, что за нужа налегке в дорогу погнала? Не догоню, не спрошу...»

Когда за поворотами впереди уже скоро должно было показаться кружало, передовые вдруг замедлили ход.

– Дядя Потыка! – обрадовалась Нерыжень.

Светел тоже вскинул голову, благо ростом мало уступал даже Гуляю. Коготковичи загораживали Царской проход, стоя во всей славе грозного боевого строя. Углом вперёд, заслоняясь сомкнутыми щитами, и на каждом щите – хищная птичья лапа с изготовленными когтями! Реет по ветру знамя, а на знамени распахивает крылья Скопа...

Захватило дух. Светел в первый раз видел дружину в полном доспехе и выстроенную для боя. Крашенные порты, зелёные с жёлтым налатники, багряный плащ воеводы! Даже взяла крамольная ревность. Почему не сеггаровичи стоят в красе и воинской славе? Почему вывалились из леса миряне мирянами, в кожухах, в грубых заплатниках?..

Пока Светел любовался и ревновал, Царская тоже сплотилась в боевой клин, не такой нарядный, но ничуть не менее грозный. Чествуя Потыку, Ильгра выпустила из чехла знамя с Поморником. Светел забыл досадовать на яркое перо коготковичей, взявшись новой обидой: «Почему Косохлёсту и Нерыжени есть место в груди клина, а я у нарты стою? Доищусь ли чести биться подле вождя?..»

Взгляд отметил такого же отрока, стоявшего в тылу супротивной дружины. Только стерёг парень не нарту с мороженой птицей, ему было вверено куда более ценное. На саночках сидела молоденькая женщина – две бронзовые косы из-под тёплого головного платка. «Самокрутка? Покрытка?..» Юная мать держала на коленях угловатую большую корзину. Внутри шевелилось меховое нежное одеялко. С перевясла гроздьями свешивались обереги. Крохотные топорик и меч...

Сеггар вышел вперёд:

– Ну здравствуй, что ли, Потыка.

Обычно он говорил мало, негромко. Но возвысил голос – и стало понятно: этот голос привычен был одолевать бурю, крики, железный лязг.

– И тебе, батюшка Неуступ, здорово на все четыре ветра, коли не шутишь, – так же зычно отозвался Коготок. Улыбнулся: – Видал суложь мою? Впрямь нетронутую взял. Сына вот родила!

Он был не столь кряжист, как ширяй Сеггар, зато высок ростом, очень подвижен, гибок, точно стальное копьё. Сходства добавляла кольчуга, ничем не прикрытая, пугающе-красивая сама по себе. Сидела она на Коготке, как вторая кожа. Сразу видно, насколько привычно и удобно в ней телу.

Светел глянул и понял: хоть он разбейся, не судьба ему такой доспех на подвиг вздевать. Не носить, небрежно красуясь, как носил Коготок. Да что носить! Отроку бестолковому даже чистить не вверят...

– А не пропущу тебя, морянин, без выкупа! – весело задорил между тем Коготок. – Возьмёшь поле – в блюде за столы сядем. Не возьмёшь – ступай, отколе пришёл!

– Не хвались, на рать идучи, – гудел в ответ Сеггар. – Которой честью разведаться вздумал?

– А мы, как на пиру, с малой чаши начнём. Ты, я вижу, отрока взял, так и у меня молодчик Посвящения чаёт. Сравнятся пусть, а там, глядишь, уже мы с тобой разохотимся жилы обмять.

Все посмотрели на Светела. «Отрекутся. Куда на меня такого честь возлагать...» А у самого вострепетал живчик надежды.

– Мой – справный гуслиар, – сказал Сеггар.

Коготковичи стали смеяться.

– Удивил! Так наш тоже. Твой пока ещё шпенёчки подкрутит, а наш, наготове стоя, пальцы морозит.

Щуплого беловолосого парня потянули вперёд, переняли заботу о суложи воеводы. Светел, уже тянувший из санок полстку с Обидными, метнул взглядом на соперника...

Из памяти тотчас выдуло всё, чем мыслил заняться.

Отрок нёс вагуду, какой Светел никогда в руках не держал, лишь изображение видел.

Где видел? А на щите славнука, что много поколений сберегали Пеньки.

Маленький толстый лук, униженный десятком тетив...

Захлестнул восторг чуда, редкостного и святого. Светел с двадцати шагов понял: певчее дерево было старым. Не на его, Светела, веку впервые струнами зазвучало. Может, даже не на веку Ерги Коренихи. Наследие, чтобы в божнице хранить, снимая лишь для праздника Рождения Мира, когда кипит мужской удалью боевой Круг... уж не по кружалам перепутным таскать, ввергая в скверну и бедствия...

Чего не отдал бы Светел за позволение прикоснуться, в ладонях понежить!

Беловолосый держал искру Прежних без трепета, как самую обычную дуделку или брунчалку. И вряд ли собирался души за облака возносить.

Шустрые замены между делом раскупорили воеводские сани. Облачили Сеггара в поддоспешник. Взялись за броню...

Потыка кивнул белобрысому. Отрок начал играть.

Голос у древней пёсницы оказался точно такой, какого подспудно ждал Светел. Серебряный, лебединый и звёздный.

Царь-обидчик, в ратном деле
Не сыскав желанной славы,
Снарядил копье и стрелы
Ради прихоти кровавой.

Без вменяемой потребности
Причиняя смерть и раны,
Разлучил с высоким небом
Золотого симурана.

Пнул ногой, смеясь удаче,
Ком тускнеющего меха:
«Пусть поверженные плачут!
Что им свято – нам потеха!»

Эту песню вспоминали на Коновом Вене, ожидая назавтра войны с Ойдриговичами. Светел тоже её знал. Сам не пел: было больно. Вместо жестокого царя неизменно виделся парень,

мало не причинивший смерть Рыжику. Тот был, правда, не жарый волосом, как дети всех андархских владык, просто медный. В том ли суть! Светел знал: если где-нибудь встретит, не ошибётся. «Покажу, как без дела стрелами бить...»

Между тем против древнего царя ополчился весь поруганный мир:

Только шутка вышла боком.
Голоса, взлетели птицы:
Лютый царь, стрелок жестокий,
Обернулся кобылицей!

Свита в крик, упало знамя,
А свирепая кобыла
Поскакала с жеребцами –
То рожала, то кормила.

Раз валялась в том же поле,
Под копытом череп стукнул...
Вмиг продолжилась недоля –
Лошадь стала злобной сукой.

Годом позже, вся в коросте,
Отлучив приплод пятнистый,
В поле выкопала кости –
Тут же стала мерзкой крысой!

Снова год прошёл по кругу.
Для крысят на прежнем месте
Голохвостая зверюга
Подбирала клочья шерсти...

И вернулся царь державы,
Поседевший, грязный, хворый,
Вместо почестей и славы
Трижды меченный позором!

...Кнут и дыбу за глаголы
О проклятье симурана
Повелением престола
Посулили горлопанам...

Но заткни-ка рот напеву!
В землю косточки погрузли,
А над ними встало древо,
А из древа вышли гусли.

И гласят всему народу,
И звенят крамольной былью
Про старинную невзгоду,
Про изорванные крылья.

Коготкович заглушил струны.

– Чем ответишь? – крикнул весело, зная: спел на славу.

Обе дружины снова посмотрели на Светела. Светел очнулся и с ужасом вспомнил: Обидные так и лежали не налаженные. Он вслепую бросился к саночкам.

– Станет ждать тебя воевода! – досадливо фыркнула Ильгра.

Сеггар застёгивал нащёчники. Будь Светел готов состязаться, может, нашёл бы предлог повременить. А так – нет.

– Наша взяла. До горы! – обрадовались коготковичи.

– Рано хвалитесь! Хар-р-га! – зарычала в ответ Царская.

Сеггар поправил кованный пояс, зашагал навстречу Потыке. Светел стоял с пылающими ушами, понимая, что впервые зрит истинного Неуступа. Какой «дядя Сеггар», пестовавший юных заменков? Толстый поддоспешный суконник, выпуклые «доски» брони, шлем с бармицей, росший прямо из плеч... Доспех, весивший, наверно, пуды, пугающе искажал телесную соразмерность. На Коготка надвигался железный утёс. Ни глаз, ни лица, ничего человеческого. Неуязвимый, неприступный. Мечтая о расправах с врагами, Светел даже не представлял их такими. А если...

Снедающий срам и тот отпустил. Лыко ли в строку оплошка ничтожного отрока, когда спорят вожди!

Ничего-то Светел пока не знал, не умел... Только рукавицы раздирать да пустой воздух дубасить...

...Сошлись. Поклонились, держа расстояние, когда ещё копьём не достать. Обнимутся после. Когда вызвонят друг другу славу по щитам, по шеломам, по серебрёным нарамкам.

– До горы! – взревели коготковичи.

– Хар-р-га! – ответила Царская.

– Эх! – блеснула шальными глазами Ильгра. – То ли дело прежде бывало! Сойдёмся с кем переведаться – только и утихнем, когда всяк молодечеством натешится и Небо натешит...

– Нынче не то.

– Чай вместе наниматься идём, а купец глянет – один руку нянчит, другой без зубов шепелявит, третий рожу исписанную несёт...

– Глянет, напугается, к Ялмаку отбежит.

Косохлёт ломко подал голос:

– Если кто плачет, будто дядя Сеггар всем в убыток нас с сестрой бережёт...

Кочерга отвесил молодому витязю подзатыльник:

– Умишка не нажил, так язык прикуси.

Светел вновь уловил тревожную недомолвку, касавшуюся заменков. Неволей вспомнилась Житая Росточь. Тётка Обореха, не знавшая, чем ещё напоследок потешить сыночка, обетованного котлу. И Лыкаш, сам не свой от страха и неизвестности. Он тоже тогда задирали то Сквару, то Светела, а губы знай тряслись...

...На застывшей реке, на поле воинской чести, огороженном двумя стенами молчаливого леса и двумя – оружных людей, затевалось соперничество стремнины и тверди, удали и упорства. Коготок вился, нападал с лёту, как скопа на лосося. Да вот лосось нынче был велик и непрост. Из тех, что выплывают в отвесно падающей струе. Измором не возьмёшь, врасплах не захватишь. Силой попрёшь – самого ловца утянет на дно!

«И я буду таким! И я...»

Потыка всё же изловчился сбить Сеггара.

Воткнул в снег копьё, взвился, грянул обоими валенками ему в щит! Как тут устоишь? Сеггару хватило бы проворства рубануть по ногам, но друга, вышедшего на любки, не калечат. Светел про себя охнул. Неуступ опрокинулся... но как! Назвать это падением не поворачивать

вался язык. Доспехи лязгнули, сплачиваясь в кованый шар. Сеггар перекатился, толкнул землю коленом – и вот уже снова стоял, и тяжёлая рогатина смотрела Коготку в грудь. Прodelай такое даже без лат, не выронив щита и оружия! Супротивника из виду не потеряв!

Рогатина свистнула в ответном посяге. Что Неуступ брал от земли, Потыка, сообразно имени, черпал у воздуха. Отлетел, упорхнул, выправился, полный грозного веселья, готовый снова разить.

Коготковичи громыхали в щиты кто секирой, кто вдетым в ножны мечом.

– До горы! До горы!

– Хар-р-га!

Светелу хотелось петь общий клич, он не знал, позволено ли. Вспомнил о гусях...

Со стороны Путилина кружала белым речным плёсом спешил лыжник. Когда витязи стали оборачиваться, парень замахал руками, закричал:

– Не покиньте, государи воители! Братья Гузыни крушить идут вчетвером!

– О! – сказала Ильгра. – Гузыни!.. Как думаешь, Сеггар, двух дружин хватит управиться? Может, лучше сторонешкой обойти?

Воины засмеялись.

– Мизинный братец у нас намедни гулял, – жаловался упыхавшийся работник. – Песни злые орал, мисы бил, работника Порейку об стол ринул... Еле совладали гуртом выкинуть! Так за него все братья рукава засучили. Семьян собрали, ратью поднялись! Говорят, дядьку своего Мешая призвали нам на погибель... А и наши возгорелись, всяк друзей кликнул... в топоры бы не кинулись! Выйдет кружалу сквернение, как потом гостей принимать? На вас надея, милостивцы...

– Я бы так рассудил, – молвил скорый на решения Коготок. – Мой недоросль с твоим ротозем толком ведь не разведались. Пусть, говорю, вперёд выбегут, а погода и мы подоспеем. Свезёт им – похвалим. Не свезёт – косточки приберём.

– Ты своего как ругаешь? – спросил Сеггар.

Не то чтобы имя отрока впрямь имело значение. Воевода смотрел на приплясывающего Светела. Взвешивал.

– Вёселем ругаю.

– Светел да Весел, – рассмеялся Гуляй.

– Лучше Светелом да Веселем быть, чем Гузынями.

– Санки оставите оба. Довезём, – наконец приговорил Сеггар. В побратимстве двоих вождей он был старший. Он строго предупредил, глядя почему-то лишь на Светела: – Ума кулаком добавить благословляю. Смертью убивать не велю.

– По слову твоему, государь воевода!

Два отрока живо пристегнули быстрые ирты. Нетерпеливый Путилин работник долбил кайком снег.

– Бегите уж, – сказал Неуступ.

Отроков погонять не занудобилось. Скоро Путилин работник уже налегал из последней мочи, удерживаясь вровень.

– Лыжи у вас, сеггаровичей, любо-дорого, – пропыхтел он, когда схлынул первый задор и бег выровнялся. – Одно слово, царские!

– Слышал про делателя Пенька?

– А то! Его лыжи втридорога из рук рвут.

– Вот он и верстал.

– Дикомыты! – сказал работник. – Злой народец, а лыжи смыслят, не отнимешь.

– Почему злой?

– А будто нет? Зеленцы жгут, купцов убивают. Вона, торгован две опасные дружины берёт в поморье идти, одной мало, боится.

Речка петляла, в иных местах бури намели снега, выстроили горюшки. Карабкайся вверх, прежде чем по уклону катить. Провожатый вовсе умаялся – видно, многовато сил положил, бросившись за подмогой.

– А ты ходок, – похвалил Весел.

– Я что... Вот Порейка хаживал, не угонишь, даром что лапы косые. И следопыт добрый был.

Светел наконец-то спросил Весела:

– Песница знатная у тебя. В наследство досталась?

– И так можно сказать, – кивнул беловолосый. – В зеленце нашёл позноблённом. Дом пустой, могилки хозяйские... Я вагуду и поднял, пока растопку искал. Струночки обновил, заиграла.

– Старая она...

– Так другой нету. Что в руки пришло, на том бренчу помаленьку.

«Да я б за неё... рубаху с тощей спины...» Добрых полверсты Светел не знал ни лыжни, ни предстоявшего дела. На что искру славнука у Весела выменять? Обидные в плату поднести? Засмеёт. Санками со всем животом поклониться? Сеггар выгонит, и поделом...

Так они коротали последнее колено пути, когда как раз бы рядить, как с орудьем справляться.

Гузыни

Пока бежали, скудный полуденный свет начал быстро меркнуть, сменившись неурочными сумерками. Облачные космы, путавшиеся в лесных вершинах, прорвались густыми кйжами снега. Белые рои поплыли навстречу, неторопливо кружась. Бородатый гонец и Весел с едва пробившимся мужским волосом тут же сделались дремучими старцами в поросли серебряного мха. Застывшую речку на глазах кутало первозданное покрывало. Вправду, что ли, Путилин домочадец здесь проходил? Может, птицей по воздуху долетел?

Он огорчённо стукнул кайком возле устья ручья, падавшего с северной стороны:

– Поди знай теперь, в угон гнать Гузыней или здесь ждать, пока выйдут.

Весел широкой лыжей смахнул полпяди свежего пуха, припал на колено.

– Хаживали тут седмицу назад, с тех пор никого. Вона, крупка намёрзла, лисой только потревожена.

– Да ты, добрый господин, прямо как Порейка наш следами искусен...

Светел спросил:

– Каково Гузынюшек привечать будем? Здесь встанем?

– Воеводы подойдут, скажут: забоялись сами разведаться, на нас уповают! – Весел выпрямился прыжком, отряхнул стёганные порты. – Ты вставай, коли охота. Я навстречу пойду.

Хоть трусом вслух не назвал. Светел опять вспомнил Житую Росточь. Спины брата и отца... неизбывные синяки на плече. По жилам раскатился тёмный огонь.

– Добро, – сказал он вслух. – Только не обессудь: кому грудь подставлять, кому в засаде сторожить, про то жребий метнём.

– Так я уж, государи витязи, побегу, – засуетился работник. – Дёла невпроворот, столowanie ваше готовить. Мы люди мирные, это вы биться умны и небось в делах кровавых бывали, как Порейка хвалился...

– Беги, толку с тебя, – отмахнулся Весел.

– погоди, – сказал Светел. – Что у них за дядька Мешай страшный?

– Будто не страшный! При добром Аодхе каторгу сторожил. Ему что кровь, что водица!

– Значит, старый уже, – рассудил Светел. – А какой такой Порейка, боевым делом испытанный?

Толпу свирепых родичей и дружков, обещанную боязливым работником, Гузыни с собой на реку не вывели. Светел увидел с ними всего одного человека. На двадцать лет старше и на голову меньше братьев-осилков. Крепкий, поджарый, с корявым шрамом на лбу, он приминая пушистый уброд, возглавляя невеликую рать. В каждом движении сквозила вспылчивая, опасная сила. Светел знал эту породу. Такой едет с гиком и свистом. Разгонит нарту собачью – всякого переедет, кто не убрался с дороги, но жоака не придержит. И ты ему ещё виноват выйдешь, что под полозья упал.

Братья-буяны, дубинушки стоеросовые, дыбали за дядькой Мешаем след в след. Тянулись нитками за иголкой.

Светел стоял посреди промёрзшего ручейного омутка. Смотрел сквозь кружащийся снег. В теле бродили токи вдохновения и восторга, почти как за гусями на Ярилиной Плеши, только опасней, угрюмей. Наплывали голосницы, неслышимые сторонним, ноги просили ломания, словно перед кулачным радением на Кругу. Судьба наконец обратила к Светелу милостивый лик. Коготкович, вынужденный скрыться в чаще, мало не плакал, но жребий свят, не оспоришь.

Наконец-то!

«За воеводу. За крылья Поморника, царствующие над морем и сушей...»

Светел даже сбросил за спину куколь. Его распирало внутренним жаром, крутящиеся хлопья таяли на лету, не достигая волос. Опёнок не мог видеть себя со стороны, лишь жалел с безумным молодым пылом, что на него шёл не Лихарь. Не Ветер.

– Мир по дороге, местнички, – вежливо приветствовал он подходивших.

– И тебе путь-дорожка, – без большой охоты поздоровался страшный дядька Мешай. Крепкий парень явно не просто так стоял на пути. – Тебе, чужой чуженин, что за дело до нас?

Светел улыбнулся во все зубы.

– Нетрудно ответить. У Путилы в кружале нынче скамьи поломались, столешники истрепались, пиво не задалось. Вас он в другой день ждёт, не сегодня.

Светел долго обдумывал своё слово. Чтоб звучало понятно, да не слишком обидно. Получилось средненько. Братья Гузыни, правда, озадачились, соображая, с чего бы такой несчастный выдался день. Дядька Мешай грозно поубавился в росте, зато в плечах как будто раздался:

– Сам отколь взялся, говорю?

– Где вчера был, там завтра не будет. А твоего, Мешай, прозвания Путила вовсе поминать не желает.

– Не соплив ты, малец, добрых людей учить, по которой половине ступать?

– Учат тех, кто слушает, – сказал Светел. – Иные и ласкового совета не понимают.

Рубец на лбу Мешая вздулся уродливым червяком. Омутки позволял с лёгкостью миновать наглому пареню. Всего дела – шаг-другой в сторону отступить. Не за полы же он их ловить будет. Однако бывший надсмотрщик отступить не привык. Обойдёшь, побрезговав сбить, – кто-нибудь непременно скажет: не тот стал Мешай. Порастерял силу. Обмяк. Забоялся юнцу вежество преподавать.

Он повёл глазом через плечо, нашёл четвертуню:

– Сходи, Хвойка.

Меньшой, самый бодрый телом и разумом, с готовностью присел расстегнуть юксы. Светел постиг его намерение так, будто оно уже состоялось. Хорошо жить на миг вперёд супостата! Вот Гузыня прянул вперёд, но куда дню вчерашнему день завтрашний догонять! Жарая голова уплыла в сторону, очень неудобную для удара. Хвойка поскользнулся, холостой замах развернул его... в лицо косо ринулся снег. Лесовику ловкости не занимать! Парнишке мигом вскочил. Озлобленно кинулся мстить за нечаянное падение.

«Прав был атя! Пока силён не поднимешься, слушать не захотят...» Вдругорядь Светел приложил недруга уже как следует, об твёрдый череп загривком. Чтобы полежал, отдохнул.

– Ты нашего младшенького не замай, – встрепенулись Гузыни. Без дядькиного слова начали сбрасывать путца.

– Угадали: меня, если что, Незамайкой нынче ругают, – сказал Светел. – А ты бы, Мешай, хоть сестру свою уважил, их родившую.

Хвойка ёрзал на снегу, искал воздуху. В сипящий рот втягивались белые хлопья.

– Слыхали? – оглянулся бывший надсмотрщик. – Вы, говорит, мамоньку плохо чтите!

– Мы не чтим?

– Он сказал?

– Да его мамка нашей родимой ножки мыть не годится!

– Что, что он там про мамоньку вякает?

– Говорю дикомытскую поди разбери.

– Он что сказал? Не уважу?

– А на рыло андарх!

«Насядут скопом, не выстою. Надо, чтоб не насели...» Длинные руки первака сгребли пустое облачко снега. Светел пролетел сквозь вражий приступ, как дядя Летень учил. Другак, начиная улыбаться, всё смотрел туда, где медленно смыкались пятерни старшего. Успел ли понять, что за вихорь метнул его на спину брату? И обоих – на четвертуню, наново лишив того

воздуху? Третьяк вроде что-то подметил, затеял повернуться навстречу. Зря! Лучше б вверх выпрыгнул! Светел кувырком влетел ему под ноги. Разгон взял своё – матушкин любимец упорхнул в общую кучу. Даже помогать не понадобилось.

Теперь на ногах оставался только Мешай, но он, может быть, один стоил всех поверженных братьев. Светел встал так, чтобы не застить коготковичу, если тот раскрутит пращу. Мешай не спускал с него глаз. Правая рука хищно тянула вон зарукавник. Суший кинжал с клинком, плавно сбегавшим к гранёному острию. «А то не хаживал я на нож...»

– Зол ты драться, а и злее найдём, – сквозь зубы выговорил Мешай. – Щенков раскидал, поговори-ка с матёрым!

Этим зарукавником он небось в застолье хлеба не резал. Работник не врал. Оружие знало кровь. И вновь её изведает не задумавшись.

Гузынюшки вставали пристыженные. Медлили нападать. Смотрели на дядьку.

– Я их, – сказал ему Светел, – в кучку сложил не потому, что плохо насели. Не надо вам туда, вот и падаете.

И ликующе улыбнулся. Открыто, как долгожданным друзьям.

При виде этой улыбки Мешай дрогнул, рука замерла. Последние лет десять его боевой кинжал лишь гусям да уткам головы сёк.

– Я вас, ребята, от лихой беды опасаю, – заботливо продолжал Светел. – На тебя, Хвойка, и так смертную вину уже возлагают.

– Что?.. – поперхнулся мизинчик. Совсем не таким голосом он пьяные песни третьего дня в кружале орал. Теперь стоял аршин проглотив, держался за старшего.

– А вот что. Ты, бражкой облакомившись, Порейку-работника ринул?

– Ну я. Подумаешь, ринул! – Меньшой хотел отмахнуться, только задор вышел тревожным.

Братья поддержали:

– Ты нас смертными ви́нами не пугай.

– Тяжкое слово скоро молвится, не скоро изглаживается...

– Зашиб, что ли? Так подарочком обиду загладим.

– Ковром войлочным добрым поклонимся. Шегардайского дела.

Мешаев зарукавник медленно уползал в ножны.

Светел грустно покачал головой:

– Некому кланяться. Тебя, Хвойка, Путилина чадь гуртом выгнала, а у Порейки кровь горлом пошла, унять не смогли. Помер к вечеру.

– Не я это! Не я! Я только нос ему подрумянил! Я смертью не убивал!

Все смотрели на младшего. Так, будто с рук у него капала Порейкина кровь.

– Не я!!!

– Ты, не ты... перед людьми правься теперь. Мне-то лишь сказать велено, чтобы вы к Путиле захаживать повременили.

– Кем велено? – спросил Мешай.

Светел ответил с великолепным чувством причастности:

– Слышал про Сеггара Неуступа?

– Кто ж не слышал, – переглянулись Гузыни.

– Сразу б сказал, чьих ты...

– А я пытался. Вы слушали? Так вот, Сеггар моими устами велит вам впредь блюсти мир в перепутном кружале. Буянов отваживать.

«Вот, атя!.. Я поднялся! Деревенских драчунов слушать понудил! Дай срок, нарочитые вельможи послушают...» Его озадачила перемена, случившаяся с Мешаем. Имя Сеггара не то что напугало бывшего надсмотрщика, просто как бы отменило все дальнейшие споры. Гузыни

вдруг насторожились, обратили головы к северу. Светел и сам уже различил лай четвёрки псов, звоны бубенцов на потяге.

– Мамонька едет, – выговорил первак обречённо.

– Борзую упряжку взяла...

Дядька неожиданно достал пальцами снег:

– Ты, парень, кланяйся Неуступу от Мешая-десятника.

По ручью на омуток вырвались псы, во весь дух мчавшие вёрткие санки-лодочку. Дома у Светела такие назывались керёжами.

Псы тотчас кинулись к молодым хозяевам ластиться. Даже четвертуня, ошеломлённый, потерянный, неволей подхватил псицу, с визгом прыгнувшую на грудь. Светел аж позавидовал. Хвойка неудержимо заулыбался, убирая лицо от проворного языка. Звери чуяли тяготившую воздух беду, силились отвести её, как умели. Светел ловил смутные обрывки их мыслей, как некогда Зыкиных.

Санками, пригнувшись, правила маленькая женщина – вся белая от налипшего снега, узора на одежде не разберёшь. И меховая личина была такой же мшисто-серебряной, как у сыновей, пока те друг через дружку падать не начали. Цепкие глаза в опушённых инеем прорезях мигом оценили увиденное.

– Уж ты, батюшка добрый молодец, несмышлёнышей моих помилуй, – неожиданно сильным, низким голосом обратилась она к Светелу. – Ребята у меня ласковые... одна незадача, без отцовской строгости возрастают, баловники.

Слова были словами мольбы, однако чувствовалось – мамонька привыкла к исполнению своей воли. Светел нашёл взглядом Мешая. Былой гроза колодников стоял скромно в сторонке. Не сказать прятался, но и на глаза зря не лез.

Светел поклонился женщине:

– Я твоим сыновьям, почтенная мать, уже всё сказал. Они со мной согласились.

Обращение, подхваченное у воеводы, казалось весомым, древним, торжественным.

– О! Не врут люди, впрямь сеггарович, – без удивления отметила мамонька. И рывкнула на всех сразу: – А ну живо лыжи вздевай! Дома дел – туча нерассветалая. Ишь, взялись мне гулять!

Цыкнула на псов, развернула упряжку. В сопровождении пятерых детей поехала по ручью обратно. Столбы медлительного снега скоро превратили идущих в серые тени, погода укрыли совсем.

Светел обернулся навстречу Веселу, вылезавшему из кустов. Коготкович затягивал пояс, так и не послуживший пращой. Он казался разочарованным, но быстро ободрился.

– Видал? – сказал он Светелу. – У неё и упряжку сука ведёт.

Из мелких ёлок, творя бережные знаки, выполз Путилин работник.

– Вот какое нестроение получается, когда баба мужиком верховодит.

Светел мог возразить: его самого мама с бабкой на ноги поднимали. Но спорить охоты не было – промолчал.

Кружало

Перепутное кружало, как все сродные заведения, стояло на грельнике. Это оттого, что ко времени, когда люди вновь захотели ездить друг к другу и останавливаться в кружалах, у каждого зеленца уже был хозяин. Кружала стали рукотворными островками тепла. Всякий мог здесь выбить сосульки из бороды, подержать у печного бока ладони, потешить брюхо горячим. Неделью ночевав на морозе да закидывая в себя, как поленья в костёр, рыбные прозрачные стружки, – харчевнику заплатишь без скупости. Звонким медяком, съедомым припасом, толикой товара, взятого на продажу. А если, вырываясь из кромешной пурги, ты где-то потерял даже хворост, заготовленный в подношение негасимой кружальной печи, тебя всё равно накормят и обогреют. Знает правильный харчевник: добро возвратится. Спустя время, изда-лека, через множество рук...

Поэтому самый разгульный вольный люд в кружале ведёт себя тихо. И даже люто враждующие дружины, сойдясь волей случая под одним кровом, откладывают вражду.

Нынешний день не сулил оставить Путилу внакладе. Когда двое отроков и работник воткнули в снег беговые ирты, парни уже начали таскать в дальний амбар мешки с мороженой птицей.

– Беги помогай, – сказала Светелу Ильгра. – Где бродил, Незамайка? Мы думали – вражью рать побеждаешь!

Он хотел ответить, Весел опередил:

– А не пришлось, государыня! Мамонька наехала, сынков домой заворотила.

– Вежливые отроки у вас, – сказал воеводам Путила, вышедший встречать дорогих гостей. – Правда, слышал я, при Хадуге Жестоком за такую почтительность на каторгу попадали. Есть, мол, царь, есть царица, а кроме них, государский почёт – ни-ни, никому!

– Нынешний владыка андархов хоть и тёзка Жестокому, но не так ревнует о власти, – сказал Коготок.

– А что о ней ревновать, – медленно проговорил Сеггар. – Одни хлопоты.

Путила вздохнул:

– Говорят, Справедливый Венец носить трудно, больно и страшно. Даже не всякому праведному он впору.

– А другие бают – власть лакома, – засмеялся Потыка. – То-то царевичей Аодхов, якобы спасённых, в первые годы дюжинами считали. Пока Высший Круг притязателям кнута для начала не посулил.

Харчевник и с ним согласился:

– Всяк хочет пусть на развалинах, но самодержцем воссесть. Верно ли сказывают, сведомые, будто праведного Гайдияра венчать на царство хотели? Слышно, его вторым Ойдригом Воином величают...

Неуступ нахмурился, промолчал. Не хотел вспоминать, как отчаянный царевич разводил его с Ялмаком.

– Плохо плечам без головы, – осторожно продолжал Путила. – Есть ещё слух, будто молодому Эрелису венец прочат. Вот войдёт во все лета... Верить ли? Люди бают, царь-собиратель потребен, справедливец, делатель неустанный... Велика ноша, выдюжит ли плечико молодое?

– Справится, – буркнул Сеггар.

Путила не для красного словца вспоминал Хадуговы казни. Простому мирянину страшно судить о делах престола. Тем более сомневаться. Но, доверяя воинской чести, харчевник всё же спросил:

– А... благодать царская не расточилась ли? В нашем заглушьё чего не болтают... Прежние цари касанием десницы кровавые раны лечили, хворых на ноги поднимали. Он же лишь седьмым сыном был раньше?

– То ли дело Гайдияр, прежде одиннадцатый! – захохотал скорый разумом Коготок. – С Гайдияром, брат Неуступ, мы бы уже на Светыни стояли. Вот только кто с какой стороны? Ты, говорят, дикомыта в отроки взял?

Сеггар смотрел на занятых работой парней. Угловатые мешки, за которые Путилины ребята брались вдвоём, Светел один вскидывал на плечо. Без натуги, привычно.

– А истинный Аодх, если впрямь уцелел, небось в неизвестности перемогается, – задумался Коготок. – Сколько ему лет сейчас? Женился небось и не знает, что семя царское множит!

Сеггар промолчал.

В амбарных дверях отроки толкнулись плечами.

– Мамонька, значит... – сказал Светел.

Весел не остался в долгу:

– А тебя, значит, одного Неуступ твой посылал? Одна Царская на дороге стояла?

Светел, вспыхнув, насовсем раздумал спрашивать его о древней песнице. Но пока возились со вторыми саями, работа отогрела сердце, он решил, что искра славнука была важнее глупых обид. Когда позвали в избу, за большим и малым столом рассаживались по чину. Потыкину суложь с сынишкой устроили отдельно, в тихом углу. Бабе-детнице не место за дружинным столом. А вот Ильгра с Нерыженью вновь сели среди мужей. Они были воины.

Весел на своей стороне оказался у самого края столешника. Светелу и того не досталось: наверно, витязи Царской были пошире в плечах. Зато коготковичи казались завидно молодыми, весёлыми, лёгкими.

– Всё тех же стариков водишь, Неуступ, – поддразнил Потыка.

Сеггар не остался в долгу:

– А поспоримся, чей отрок моложе?

Светел, непривычный врать, в испуге задумался, получится ли убавить-набавить себе полгодика, если спросят. Однако до спора не дошло, посмеялись, заговорили о другом.

Сидеть за голым столом было непривычно, почти непристойно. Светел гладил рукой лощёную плашку. Полоски ложной заболони, лучики сердцевины, сдвоенная завязь сучков... Нити, жилки, слои, додревние письма. Вглядишься – и прочтёшь, кто грелся здесь до тебя.

– Может, теперь твой гуслир нам споёт? – учтиво предложил Коготок.

Светел с надеждой потянулся к Обидным, торопливо соображая, хорошо ли гусли налажены и какая песня пришлась бы к застолью.

– В другой раз, – сказал Сеггар. – Незамайкиных песен мы на днях досыть наслушались.

– До сих пор в ушах дребезжит, – поддержал Гуляй.

Светелу даже есть расхотелось. Их с Веселом общая плешка ухмылялась трещиной по деревянному краю. Что в рот возьмёшь, колом встанет. Светел нагнулся подвинуть гусли обратно и... встретился глазами с подобием человека, таившимся под столом. Светел удивился:

– Ты кто?

Несчастный безумец замотал длинными патлами. Беспальные руки робко протянули мисочку для подаяния.

Весел вышел к вождям. Устроился на низкой скамейке, утвердил искру между колен. Пальцы быстро пробежали по струнам.

Кому велит божественная милость
К закату дня трубить в победный рог?

Мой друг сказал: «Сегодня мама снилась.
Она звала – я сдвинуться не мог.

Смотрю, совсем состарилась в разлуке,
И голос так отчаянно дрожал...
Она ко мне протягивала руки,
А я копьём испоротый лежал.

Наверно, сгину в нынешнем сраженьи.
В кровавый снег поникну не дыша...»
На языке застыли возраженья.
Я слушал друга – и рвалась душа.

– А работника того... как бишь звался? – беседовали за малым столом. Там скучились миряне, утеснённые приходом дружин. – Ну, помер который. Уже погребли его?

– Нет ещё. Ждёт Путила, чтоб гости именитые своей дорогой ушли. Не хочет веселие портить.

– А то пёрышко хоть спалили? На спину прилипшее?

– Спалили сразу, как иначе! На самое перепутье вынесли и сожгли: гуляй, беда, по чужим долам, к кому на постой, а к нам ни ногой.

Светел так и замер. В тёплом кружале засквозило морозным ветром Вагаши, в ушах ожили тамошние кривотолки. Чёрные пёрышки... жуткие деяния Ворона... Огромная тьма пала завесой, отгородив Светела от всего сущего, оставив созерцать лишь невнятные древесные письма. Если верно направить свет, письма обретут смысл. Но такова сулит оказаться их повесть, что, может, вовсе не стоит ходить по этим следам...

Рядом стукнуло. Молодая блюдница принесла отрокам разогретых лепёшек, утиной подливы.

– Спасибо, красёнушка, – поблагодарил Светел.

– О, да тут опять северянин, – прислушалась девушка. – А по лицу не скажешь! Вот онамедни истый дикомыт проходил. Прямо тут сидел, где ты теперь. Краси-и-ивый... Глазом поведёт – душа вон! А суровый, не подступись!

У Светела кусок застрял в горле. Сквара. Повзрослевший. Похожий на молодого Жога Пенька...

– Дикомыт? – кое-как выговорил он.

– Ну да, с братом шёл. С дочуркой-отроковицей.

Светел открыл рот расспросить, как выглядел захожий красавец. Девушку окликнули, она заспешила на другой конец повалуши. Светела что-то заставило опустить взгляд. К его валенку несмело тянулась култя, обмотанная тряпьем. Он отломил кусок лепёшки, уронил в миску калеке. Из-под стола раздалось чавканье.

Пальцы Весела бойко похаживали по струнам.

Всё восстаёт, противится и ропщет,
Когда по детям плачут старики!
Ведь это нам родителей усопших
На берегу Смередины-реки

И провожать, и обещать – догоним...
Всему на свете должен быть черёд!
Тут я поклялся: смерть его не тронет.

Пускай меня сначала заберёт!

Разум Светела искал, за что зацепиться.

«Да ну, какой Сквара. С братом... с дочуркой...»

Взгляд вернулся к изогнутой лебединой шее, качавшейся над плечом коготковича. В отсветах из печного устья жильные струны разбрызгивали дрожащее золото.

...А сеча вправду выдалась жестокой.

Израненные падали без сил.

Того копья не уловил я оком.

Почувствовал... и друга заслонил.

...Ни деревянных утиц, ни косточки. Певчие тетивы ныряли в отверстия палубки и невидимо за что-то крепились, но как?... Светел ощутил снедающую потребность дознаться, как же там всё устроено. Вот так Жогушка забывал есть и спать, злился, плакал, начинал сызнавать... но дела не бросал, пока пригожий лапоть не получался. Будет же время Веселову снасть в руках подержать? Будет ведь? Светел кожей улавливал все трепеты полочки, дыхание тонких стенок ковчежца. Пальцы плясали над краем плоски, повторяя движения рук играца.

...Вновь боязливое прикосновение. Калека смотрел воспалёнными глазами, протягивал мисочку. Светел бросил ему ещё кусок: не мешай!

И клич гремел. И знамя устояло.

За истреблением вражеских полков,

За тем, как снег окрашивался алым,

Я наблюдал уже из облаков.

Над полем славы медленно темнело.

Оставшись жить погибели назло,

Мой друг увидел стынущее тело,

Перевернул, сказал: «Не повезло...»

Потом он шёл – усталый победитель.

Мой щит и шлем качались на ремне.

Дождётся мать. Не оборвутся нити.

Живи, мой брат. И помни обо мне.

Весел играл уверенно. Двумя руками, не ошибаясь по струнам. Однако имён зря не дают. Даже грустный сказ о гибели воина коготкович играл так, что хотелось плясать. Весёлым родился и не умел по-другому. А вот Крыло, захоти он, Сеггара Неуступа мог до слёз довести. Потом рассмешить. И в довершение подарить спокойную доблесть: пусть всё идёт по воле Богов, лишь бы нас не в чем было упрекнуть. А там...

Светел всё поглядывал в тихий угол, где время от времени подавал голос младенец. Блюдницы, привыкшие к мужской грубости, рады были заботиться о Потыкиной суложи, величали её со всем почтением: госпожа Юла. Светел вспоминал, как возился с маленьким Жогушкой, улыбался воспоминанию. Он первым заметил пышного большого кота, выбежавшего из поварни. Держа хвост пером, рыжуня спешил на детский голосок. Без робости запрыгнул на колени Юле, сунулся прямо в люльку. Оттуда высунулись ручонки, пропали в тёплой шерсти. Зазвенел смех.

– Продашь котейку, добрый хозяин? – тут же отозвался молодой воевода. – Вишь, мальцу глянулся моему.

– Куда в поход без кота, – вздохнул Сеггар.

– Забота твоя, Потыка, – по праву старшего витязя добавил Гуляй. – Но, по мне, поселил бы ты жёнку с дитём у добрых людей...

– Я хотел. В ноги пала, дурёха, умолила не покидать.

– Почему?

– А забоялась, другую увижу, к ней не вернусь. Так продашь котейку, Путила?

– Отчего нет? Продавал уже. Дважды. Да мой рыжий у покупателей не живёт, назад прибегает. Перед людьми срам! Плаченное за него в божнице храню, ни грошика не растратил...

– Третий раз счастливый, – засмеялся Потыка. – Сколько просишь, друже?

Светела между тем качнуло от тёмного страха к немедленному подвигу. Пронёсшаяся тень породила жажду огня.

«Будет то, что будет, даже если будет наоборот!»

Девушки поднесли Веселу тёмного шипучего кваса, дали пирожок. Стали шептать в ушко, косясь на милостивых вождей:

– «Как девица во тереме гадала» умеешь?

– А «Сам собою он черноусый»?

– Вот кончится ваш воинский пир, уж ты про нас не забудь. А и мы, вестимо, отблагодарим...

Весел жевал, улыбался красавицам. Выбирал, какой бы песней потешить разом и воинскую удаль, и девичье нежное сердце.

Пора, решил Светел. Руки вмиг утвердили на колене Обидные, подвернули три шпенёчка из девяти.

Гусли, звените
Сами собой,
В битву зовите,
На последний смертный бой!

Этой песни никто здесь никогда не слышал, потому что Светел сплёл её сам. То есть как сам? Не вполне. Взял подхваченную голосницу, кое-где направил по-своему, придел в иные созвучья. Слова – те были не заёмные. Совсем свои.

«Вот вам правский сказ о гибели и судьбе! Кто перед боем заботится, как бы живу остаться, – не победит...» И пел Светел, будто накануне сражения. Когда по ту сторону – не вагашата с пращами, не дядька Мешай сам-пятый, а Ялмак. Или кто ещё пострашней.

Гибнуть бесславно
Не захотим!
В битве неравной
Наши плечи мы сплотим...

– Рот закрой, – смелá всё его вдохновение Ильгра. Стяговнице не пришлось ни повторять, ни повышать голос.

Светел поперхнулся, прижал струны ладонью.

– Нос не дорос ещё про такое нам петь, – прогудел Гуляй.

«А Веселу, значит, можно?!»

– А Веселу можно, – сказала Ильгра. – Ему его воевода позволил. Тебе кто разрешал?

– Ты пой, Вёселко.

– В кои веки снасть гбжую послушать. А то всё корытце, на коленке долблённое.

Светел обречённо искал взглядом заменков. Где поношения? Не дождался. Брат и сестра сидели отчего-то тихие, пришибленные. Жались к старшим воинам, словно перед вечной разлукой.

– Не велите за бесчине казнить, государи витязи, – повинился Светел. Про себя же захлебнулся: «Гусли изломаю. Сожгу. Всё одно убогие родились. Обидные. Вдругорядь прикажут играть, как на Ярилиной Плеша, а не дождутся. У меня же голос-корябка, руки-сковородники, на ухо оботур наступил. Где хотите, там берите другого. Один дальше пойду...»

Гусли жалобно звякнули, исчезая под скамьёй. Пока Светел гадал, не перетолкуют ли этот звяк раздражением против старших, – отворилась дверь из сеней. Вошла ещё гостья.

В растворённом печном горниле заматались зелёные языки. Впрочем, Светел сидел слишком далеко. Может, померещилось.

Путила забыл могучих воевод, кинулся принимать вошедшую, словно царицу какую. Светел посмотрел, отвернулся. Седенькая старуха с андархскими вдовыми прядями по плечам, глаз под платом не разглядишь. Путилкины лепёшки из болотника, благоухавшие утиным жирком, не стоили маминого сухаря. Светелу не было дела до лакомств, что подносили Веселу красёнушки-девки. Всё, что было на общей плошке, он честно поделил надвое. Нам чужого не надо!

– Садись, матушка пророчица. Чем угоститься желаешь?

Воеводы оглянулись, стали двигаться за столом, давая место старухе, но работники бегом вынесли большое кресло, сплетённое – Светел да не подметил бы! – из соснового корня. Застлали пушистым волчьим одеялом. Сухонькая бабка в нём утонула.

«Пророчица?» Светел с новым любопытством разглядывал гостью. Вот, значит, какие они, знаменитые провидицы Андархайны! Вроде всё тот же снег под лыжами, а и не заметишь, как из Левобережья в коренные земли вбежишь...

– Завтра бы пораньше в путь двинуться, – наклонился к Сеггару Потыка. – Замша-купец, сказывают, причудлив. Других бы не нанял, если к сроку промешкаем.

– Мне гонца ждать, – медленно проговорил Неуступ. – Думал, он уже здесь.

– Так оставь, может, их у Путилы, а сам...

– Нет. Где один из нас, там и знамя. Мой первый долг – им.

– Тогда я со своими вперёд побегу, пока Замша не переметнулся.

– Если в Пролётищи метишь, друже Коготок, северную дорогу возьми, – посоветовал подошедший Путила.

– А Уразищами не ближе? Напрямки? Вона, гряду с порога видать.

Путила замялся. Посмотрел в дальний конец повалуши, где дикообразный раб кланчил подачку у отрока Незамайки. Воеводы с первыми витязями тоже повернулись в ту сторону. Раб испугался, крикнул про Острахиль-птицу, удрал на четвереньках под стол. Отрок на всякий случай нахмурился, упрямо свёл брови. У Сеггара чуть дрогнул под усами уголок рта, но этого никто не заметил.

– Не ходят у нас по холмам последние годы...

– Почему?

– Духовую щелью знаешь?

– Проходил не однажды. Там ветер ниоткуда берётся.

– Здесь тоже щелья есть. Туманная. Туман плавает в скалах, ветром не уносимый. С горки поглядеть – стрелой перестрелишь. А люди войдут – и ни слуху больше, ни духу.

– Что ж там за погибель?

– Не знаю, – сказал харчевник. Искрал взглядом раба. – Вон, захребетник мой тамошних чудес насмотрелся, разум обронил, не рассказывает. А мне что? Меня это диво с перепутья выжить не норовит, мне и ладно.

Старуха-провидица, отведав Путилиного угощения, подрёмывала в тепле. Но некрепок старческий сон. Если к ней подходили или начинали упорно смотреть – тотчас просыпалась.

Коготок, щедрый, как все достойные воеводы, застегнул на иссохшем запястье серебряный обруч:

– Что зришь для моего сына, почтенная?

– О... – был ответ. – Сын переживёт тебя на долгие-долгие годы...

– Ты, бабушка, хитрей всех в ремесле, – рассмеялся Потыка. – Как велишь толковать: малец до почтенной бороды доживёт или я рано сгину?

Вещунья обратила к нему лицо, перехваченное тёмным платком. Закрытые глаза улавливали иной свет, озарявший для неё все тайные тропы.

– В твоём будущем я не вижу проигранных битв...

Вёсела старуха подозвала сама. Юнец приблизился, робея.

– Знаешь ли ты, – спросила она, – что кокору для твоей песни в былые годы выращивали? Брали молоденький клён и направляли ствол с ветками, придавая должный изгиб. Для корытца ствол клиньями распирали...

Юнец тосковал, глядел в сторону.

– Это сколько ждать, пока вырастет...

– А прежде вечностью жили, не одним сегодняшним днём. Зато те звуки вправду звёзд достигали.

Светел наострил уши. У него всё не было случая подержать в руках чудесный сосудец. Заглянуть внутрь сквозь голоснички. «Ну ничего. Догоним в Пролётище, дальше вместе пойдём. Улучу время...»

– Твой ковчежец, дитя, что хилый потомок некогда могучего рода, – продолжала вещунья. – Дай руку.

Светел сразу вспомнил Арелу, умевшую читать по ладони, но старуха лишь быстро ощутила кончики пальцев:

– Вот о чём я толкую. Ты даже не ведаешь, что эти струны просят крепких ногтей.

Весел разглядывал ложку, засевшую черенком в трещине потолочной доски. Ты, бабка, старая, говорил его вид. На что мне додревние сказки, я молодой! Гадалка улыбнулась:

– Хочешь, я загляну сквозь время ради тебя?

Весел ожил, подмигнул спешившей мимо блюднице:

– Напророчь, бабушка, чтобы в смертный час меня самая пригожая обняла.

– О! Ты зришь суть, – словно того и ждала, вздохнула вещунья. – Это сбудется. Ты выронишь душу, обнимая красавицу.

Коготкович победно выпятил грудь, но тотчас задумался. Это, значит, его до старости красные девки будут любить? Или ему теперь объятий бояться, вдруг душа вон? Светелу показалось, Весел даже на свой ковчежец посмотрел неприязненно, будто тот ему загадку угрожающую загадал. Однако живой нрав взял своё. Весел вновь оседлал скамеечку... и вдруг повёл памятное:

Как подружки собирались...

...Лапотное ристалище, Торожиха, Крыло!.. Светел ждал, чтобы Неуступ оборвал легкомысленного певца, но Сеггар ухом не вёл. Вот перемигнулся с Ильгрой. Воевница понятиливо кивнула, подошла к гадалке. Вложила ей в ладонь подношение, выслушала ответ. Вернулась недовольная.

– Старая ведьма из ума выжила, – сказала она Нерыжени. – Я ей: как, мол, наши ребята успеют?.. А у омёхи то ли уши плесенью заросли, то ли ум за разум запрыгнул. Дочери,

говорит, твоих дочерей спустя много поколений будут править могущественной страной! Ха! Мои! Дочери!.. Это она мне!.. Светлый сребреник зазря отдала!

Злая буря хлещет градом,
Рвёт черёмухи убранство...

Светел, поникнув, гладил пальцем непристойную наготу столешницы. Следил древесные письма. Радуйся, отрок, что отдыхаешь в сытости и тепле. Даже подаёшь бедолаге, ввергнутому в ещё худшее ничтожество. И песню Крыло сложил благозвучную. Только всё равно слишком сладкую. Как бы голосницу подправить...

Голова стала незаметно клониться.

Его тряхнули за плечо. Светел взвился, покачнув скамью.

– Лежебока! – сказал Косохлест. – Гостя засобиралась, выдь проводи!

– Иду, дяденька.

Он до того привык величать сверстника, что уже не чувствовал унижения. Ну... почти...

Старуха возилась во дворе – по-прежнему с платком на глазах. Сидела на колоде, охала, привязывая лапки к ногам. Светел наклонился помочь. Снегоступы были ветхие, не однажды латанные, да так неумело, что латальщику руки бы оборвать. Дома в подобном дранье стеснялись к морозному амбару выбежать, какое гулять по людным местам.

– Погоди, бабушка, – сказал Светел. – Лапки у тебя совсем изорвались. Ты посиди, новые принесу.

Бросился к своим саням, вытащил плетёные лыжи. Очень удачные, нарядные, маленькие, как раз для женского нетяжёлого тела. Затебал он их, вообще-то, в подарок Ильгре либо милой белянушке, но Нерыжень могла бы и не безобразничать с его гуслями, а Ильгра за такое подношение, пожалуй, высмеяла бы.

– Знакомый узор, – одобрила гадалка, пробежав пальцами по тугим ремням, как по струнам. – Не Пенькова ли знаменитого дела?

– Ну...

– Что «ну»? Спрашивай уже, о чём при всех постеснялся. Ты ведь ради этого мне подарком поклонился?

Светел вскинул глаза:

– Не, я... я так просто...

И замолк. Мгновение назад был уверен, что вовсе не собирается ни о чём вопрошать, но вдруг понял – если не спросит, умрёт прямо на месте.

– Только помни, – зловеще добавила провидица, – слово, сказанное в урочный час, рождает долгое эхо...

– Бабушка! – выпалил он. – Ты всё знаешь! Скажи, будет ли спета песня о братьях, разлучённых, но отыскавших друг друга?

Вещунья вздохнула. Дотянулась, взъерошила ему волосы. Ощущение было – студёный вихорь с бедовников. Светел едва не шарахнулся. От старухи веяло ледяной жутью. Наверно, как от всякого, кто лишь притворяется человеком.

– Дитяtko глупое... Ты спрашиваешь о песне, а сам ещё гуслей не выдолбил, способных её сыграть...

«Я... Как не выдолбил?!»

– Наш путь, – продолжала гадалка, – вправду ведёт к порогу времён, чреватых множеством сказаний и песен... Однако ты убедишься, маленький огонь: иным легендам лучше такими и оставаться. Ну, пошла я.

Маленький огонь!.. Никто его так не называл со времён дяди Кербоги. Светел сглотнул, глупо ляпнул:

– Куда же ты, почтенная, в ночь одна собралась? Повременила бы... поезда попутного обождала...

Гадалка слезла с колоды. Потопала новенькими лапками по дворовому снегу. Запасливо убрала старые в наплечный кузовок.

– Недосуг временить. Ждут меня.

Светел вышел с ней за ворота. Подал заплечный кузов. Постоял, глядя, как она уходит через широкую луговину, некогда, верно, заливную и травостойную. Перейдя на ту сторону заметённого русла, путница как будто стала меняться. Распрямилась, стала выше ростом, величественней... Вот подняла руку, сдёрнула надоевший платок. Светел немедля возжелал, чтобы женщина обернулась, хотя какое лицо, какие глаза, когда сама едва различима?.. Он даже не моргал, боясь прозевать, в то же время отчётливо понимая: это может оказаться самым страшным, что он в своей жизни видал. Исчезая за далёким изволоком, пророчица оглянулась. Между небом и землёй на миг вспыхнули два синеватых огня.

Возвращение с орудья

– Все в юности свежи да хороши, – скупно делилась Шерёшка. – Я-то не столь красовалась. Вот Кимидея, та солнышко была среди нас. Войдёт – хоромина озарится, волосы пламенами. А как песни играла!

Смелый Ирша спросил недоверчиво:

– Как дяденька Ворон?

Он натягивал на круглое донце берестяной сколотень, распаренный в кипуне. Разноцветные грязи умножались не по дням, горшочки, привезённые из крепости, давно были полны.

– Равнять вздумал, – фыркнула бобылка. – Ворон твой охаверник, бабьей свистулькой балуется, а там песни царские пелись. И воевали за Кимидеюшку небось не безродные с беспортошными, а царственноравный с царевичем!

Тихий Гойчин вкруговую возил плоским голышом по чёрной каменной плитке. Истирал битый желвачок в текучую пыль. Скрип и шорох сперва гневил хозяйку. Потом стали привычны, как дождик по крыше. Однажды минуются, вздохнёт.

– Правда царевич спорился, тётенька? – подала голос Надейка. Она мешала щепоти тёртой вапы с желтком утиных яиц. Испытывала на проклеенных дощечках. Мазать просто так было скучно. Под самодельной кисточкой возникали то окованный уголок скрыни, то печной горб, то Шерёшкина нога в шептуне. Девушка любопытно спросила: – Неужто из высших?

Хозяйка пристукнула по полу клюкой:

– Так я вам, верещагам, все дела праведных и открыла!

Кошка, говорят, не поворачив, не съест, вот и у неё на одно слово сказки выходило по семь слов буркотни.

– Правда твоя, тётенька, – подхватил игру Ирша. – Толку ли открывать! Всё равно Беда унесла.

Шерёшка оттолкнула с торжеством:

– А вот не унесла! Доныне славится в Коряжине могучий Гайдияр, Меч Державы, украшение мужества!

Надейка осторожно заметила:

– Только про Кимидею прекрасную мы ничего не слыхали.

– Потому и не слыхали, дурачье, что она от доблестного царевича лицо отвернула. С царственноравным в покой брачный вошла.

– Да почему же?

– А он песни складывал, что она любила играть.

Ирша поставил сушиться слаженный бурачок. Побежал на кипун за новым сколотнем. Но едва выскочил вон – вернулся с пустыми руками:

– Идут! Дяденька Ворон идёт!

– Чем с дороги потчевать? – всполошилась Шерёшка.

Надейка бросила кисточку, потянулась за костылями.

В сенцах уже топали, обметали валенки вернувшиеся орудники. Ирша вновь бросился вместе с Гойчином в дверь. Налетел прямо на Лыкаша, перелезавшего высокий порог.

– Здорово в избу, государыня Шерёшка!

Вторым вошёл Ворон. За руку втащил перепуганную девчонку. Выставил перед собой. Малявка шарахнулась, он придержал. Некуда деваться, кощевна съёжилась, заслонила локтями.

– Можешь ли гораздо, тётя Шерёшка! Вот... принимай детище. Я во имя Владычицы сиротке кров обещал.

– Ты, авосьник беззаботный, по губам ей помазал, а я исполняй? – вскипела бобылка. Слезла с лавки и, хромая, обошла Ворона. – Ещё что кому от худобы моей насулил?

У него шелушилась под глазами тонкая кожа, накусанная морозом, в волосах таяли последние звёздочки куржи. Глаза смеялись, но ответил Ворон смиренно:

– Больше ничего, тётенька.

Шерёшка встала на цыпочки, дотянулась, строго вздохматила подзатыльником чёрно-свинцовые пряди:

– Где страшливую такую добыл?

А сама глаз не сводила с бронзовых кудрей на детской макушке.

– Где добыл, там больше нету, – улыбнулся Ворон. – А робеть она сейчас только робеет. Дорбгой два раза сбегала мечь мстить. Погодь, отогреется – замаешься укрощать.

– Братик, блюдо добыл ли? – обрела голос Надейка.

«Братик?» Между острыми локтями блеснул любопытный глаз. Ворон оставил подопечную, сгрёб в охапку наглядышей, сел к Надейке, обнял и её тоже. Стал рассказывать. Скоро начался смех.

Лыкаш поставил на хлопот принесённый коробок, поднял крышку.

– Мы, государыня, путём в кружало зашли. Я чёрной соли для тебя прикупил...

Цыпля, оставленная общим вниманием, уже двумя глазами обводила избу. Невеличка-девушка всё гладила Ворона по плечам, забывала утирать счастливые слёзы: жив вернулся! Два подлётка наперебой выпытывали про орудье. Ворон то загадочно отмалчивался, то страшным шёпотом поверял тайны – одна другой забавнее.

Про его орудье Цыпля и так всё знала, потому рассказа не слушала. Её больше занимали сверстники. Уверенные, речистые... взрослые. Новые братья, обещанные дяденькой Вороном. Сразу подойти Цыпля не посмела. Стала подкрадываться шажок за шажком...

Лыкаш тихо подтолкнул Шерёшку, придирчиво нюхавшую соль. Указал взглядом. Девчонка тянула Гойчина за рукав:

– Ты тоже тайный воин? Умеешь всё? Научишь меня?

Гонец

Светел никого не расспрашивал о гонце, ради которого Неуступ метнул в кон возможность найма и заработка. Ещё решат, что подслушивал. Отмывайся потом. Да и не отроческого ума такие дела.

Дружина Коготка собралась и ушла рано утром, очень буднично, с весёлыми прибаутками. Так в Твёрже мужики во главе с дядькой Шабаршей уходили на седмицу в лес, валить сухостой.

– Догоню, ты мне дорогу больше не заступай, – сказал Сеггар.

– А что? – подбоченился Коготок. – Забоялся? От моего копьеца поныне плечи гудят?

– Я-то не забоюсь. Купца напугаешь.

Весел переминался, немного смущённый. Оказывается, ему временами поручали люльку с воеводским сынишкой. И правильно. Где санки неловко подпрыгнут, а то опрокинутся на ухабе, устоит лыжник, выросший в беге. А натечёт враг, уж не гусярю первому в бой. Весел косился, ждал от «дикомыта» смешков: нянька! Светел глумиться даже не думал. Опять вспоминал, как сажал на плечи братёнка, как был для Жогушки великаном, непобедимым защитником. Глубоко внутри угнездились тепло.

В продухе люльки шевелилось мягкое одеяло, мелькала живая рыжая шёрстка.

– Наиграется – удерёт, – заново предрёк Путила. – Я выкуп приберегу пока. У меня без обмана!

– А прибереги, – кивнул Коготок.

Обнял Косохлёста, отечески расцеловал Нерыжень.

– Прощай, дядя Потыка, – одним голосом сказали заменки.

– Увидимся, – посулил Коготок.

Воины потянулись со двора. Это Светелу перепутное кружало было в диковину, а они сколько повидали? Сколько ещё увидят? Не счесть...

День до вечера заполнили тихие хлопоты. Место коготковичей скоро заняли новые постояльцы. Кланялись харчевнику то большущим сомом, вырубленным из придонного льда, то бочонком квашеного мха. Даже полтью забитого оботура. Кто-то пустил сплетню: Путила снова продал кота. Гости, собиравшиеся задержаться в кружале, делали ставки, на который день прибежит.

Всякий раз, когда в южной стороне возникали точки идущих людей, у ворот объявлялся Сеггар и с ним оба заменка, похожие на испуганных детей. Потом воевода молча дёргал усы, уходил слушать, как плещут в раковине далёкие волны. Брата с сестрой уводили старшие витязи. Те шли, будто им отсрочили наказание, но не отменили совсем. Глядя на них, Светел понимал, что видит себя самого перед прощанием с Твёржей. За порогом новая жизнь, вымечтанная, желанная, но страшноватая. И переступить порог никак не дают. Светел с утра осмотрел все ирты, все лапки. Поменял ремень на снегоступе Гуляя, стёршийся от неровного шага. Что-то подтянул, подклеил. Проверил все чунки. Жаль, Коготку не успел поправить левую лыжу, где отстал камыс на пятке. Сеггар дождётся гонца, Царская побежит дальше, полетит проворной метелицей. Скоро у Светела будут седые волосы и шрамы от уха до уха, как у воеводы. Он свернёт шею Ветру, отвёрстываясь за атю, а Лихаря бросит в самый ядовитый кипун. Вызволит Сквару, возьмёт за руку, пойдёт с ним домой. Слова гадалки померкли с приходом трезвого дня, пророчество уподобилось сну. Пока снится – ничего не придумаешь осмысленней и важней. Проснёшься – расползается клочьями...

...Вторая подряд ночь под уютным кровом собачника. Не нарушенная ни стражей, ни онемением, вынуждающим разминать замлевшие ноги... Светел вскинулся на локте, когда рядом зашевелились заменки. Между ними сидела Ильгра, обоих гладила по головам.

– Пора, детушки...

У Светела даже сердце застучало быстрее. Вот оно! Дождались! Опять вспомнилась Твёржа. Светела особо не звали, но витязи кругом отбрасывали одеяла, тянулись наружу.

Во дворе слышался лай. Пахло близким рассветом. Путилины работники снимали алыки с шестерых псов, запряжённых в длинную нарту. Нарта показалась Светелу не слишком удобной. Больше для красного выезда, не для тяжкой дальней дороги. Чужие воины в полосатых плащах вынимали из меховых полстей седока. Судя по голосу – вряд ли старше, чем Светел или заменки. Пламена светильников скупно выхватывали крытую цветным бархатом шубу, тонкое шитьё, красные сапоги.

– Не стерплю, чтобы ещё ты мне пенял! – гневался юнец, прибывший из иного мира, из сказки, из младенческих воспоминаний Светела. – Я и так принял все труды и все муки! Я, сын и внук царедворцев, допущенных в палаты Высшего Круга, трясся на мешках с вяленой рыбой и сам ею провонял до нутра, и вот какой мне оказан приём!.. И всё прихоти ради... чтобы каких-то телохранителей привести...

Он захлёбывался обидой, мешал свои неправды с чужими, привезёнными из Выскирега, из тех самых палат. Сеггар, всего-то сказавший «Ну наконец-то», перед юным вельможей был глыбой неотёсанной мощи. Наверняка мог одним щелчком закрыть ему рот до вечера. И... молчал. Терпел. Светел заново обозрел немыслимый путь, что очертил для него атя Жог. Это каким надо стать, в какую силу войти, чтобы словом, взглядом смирить не дурных Гузыней, не сына какого-то царедворца – весь Высший Круг, где сидят лишь ступенью ниже царей!..

«Я смогу, – поклялся он троим отцам, смотревшим на него с той стороны неба. – Я смогу!»

Заменки с немим отчаянием оглядывались то на Ильгру, то на Сеггара, то на Гуляя. Надо было что-то делать, выручать воеводу, но как?.. Осунувшаяся Нерыжень как будто встряхнулась, кровь вернулась к щекам.

– Уж ты прости наше неразумие, добрый батюшка красный боярин, – серебряным ручейком потёк девичий голос. Нерыжень выступила на свет. Она была так прекрасна сейчас, что Светел аж задохнулся. – Не побрезгуй скудостью, великий гость долгожданный! Пойдём к печи натопленной, за столы богатые! Пищами согреешься, пивом сердце возвеселишь, песнями душеньку восхрабришь...

Песнями?.. Как она поёт, Светел прежде не слышал. Но не усомнился – заслушаешься. Что важнее, не усомнился приезжий. Разящая красота Нерыжени постигла его вернее меча. Боярский сын забыл обличать, смолк, шагнул ей навстречу.

Сеггар кашлянул. Гонец вспомнил о нём и о деле, сунул руку за пазуху. Вытянул узкий кожаный тул.

– Вот письмо. Грамоте разумеешь?

Сеггар молча вскрыл тул. Полюбовался вислой печатью чистого воска, поди такую подделай! Развернул свиток. Сощурился. Отдалил от глаз. Он читал не слишком уверенно, не его это был хлеб и каждодневная надобность. Однако справлялся.

– «Эрелис, третий сын Андархайны... законный сын Эдарга, властителя шегардайского и всея окольной губы... повелевает Сеггару, сыну Сёнхана, прозванному Неуступом, вольному воеводе...»

– Повелевает, – благоговейным шёпотом, с непонятной нежностью повторила Ильгра.

– «...повелевает выдать благородному Мадану, племяннику верного слуги нашего, Фирина Гриха, сберегать... сберегаемых в его дружине детей славного рынды отца нашего Эдарга, именем Космохвост... им же рекла Косохлёт да Нерыжень... дабы он, боярский сын Мадан, их привёл пред лицо наше в стольном Выскиреге. К сему приложили руку Невлин, сын Сиге, седьмой боярин Трайтгрен, и Фирин, сын Дойгеда, пятый боярин Грих, великий обрядчик.

– Всё ли верно? – спросил высокородный гонец.

Голос прозвучал ещё раздражённо и немного насмешливо, – видно, грамотность Сеггара позабавила Мадана. Светел немедленно задумался, как-то на месте воеводы справился бы сам. Андархской речи он, благодаря Пенькам, не утратил, хотя чистоту говора растерял. А вот с начертанным словом дела не имел давненько. «Это ведь, как до Высшего Круга дойду, тоже важно будет? Дадут вот такое письмо, тут и взопрею...»

– Верно, – сказал Сеггар. – И я узнаю руку Эрелиса Шегардайского, сына Эдарга.

– Тогда над означенными Косохлёстом и Нерыженью больше нет твоей десницы, вольный воевода. Им идти моей дорогой, а тебе, Сеггар Неуступ, – какой пожелаешь. Признаёшь ты это?

– Признаю, – проскрипел Сеггар. – Харр-га!

– Харр-га, – словно ставя печать, глухо, слитно и яростно отозвалась дружина. – Харр-га!

Светел уже знал: на додревнем морянском языке это значило то ли «высокий дом», то ли «дом превыше»... в общем, «наша взяла». Боярский сын поводил глазами, зримо потерявшись. Угрюмый клич дышал силой, незнакомой и неподвластной ему. Заменки стояли прозрачные, принимали славу, что воздавали им побратимы. Светел жалел, что не вынес Обидные, да не бежать за ними теперь.

Туманная щелья

Оставив в Путилином кружале двоих человек, Царская ходко убегала к северной дороге. Светел, так и не успевший подружиться с заменками, ощущал их отсутствие, как прореху на спине кожуха: ледяными токами под лопатку. Он со своими санками вновь шёл предпоследним. Замыкал вереницу Гуляй. Это была вторая честь после самых передовых, не отроку её доверять. Сеггар с Ильгрой задали гонку, от которой царский посланник расплакался бы на первой версте, а с ним, чего доброго, и его упряжные псы. Знать, хотел воевода отыграть сутки, потерянные из-за нерасторопности боярского сына. С купца-нанимателя станется отдать плату иным, коих немало вьётся в Пролётище. А с Коготка – увести поезд одному. Просто чтобы Сеггара подразнить.

Светел в охотку так разлетелся на лыжах, что еле унял бег, когда Ильгра вскинула руку. Витязи собрались возле передовых. Те разглядывали следы.

- Всё же напрямки повернул, – ворчал Неуступ.
- Через щелью? Сказывал же Путила: неладно там.
- В том и дело. Коготку отважному чем неладней, тем лакомей.
- Всё доблесть молодецкую утверждает...

Сеггар хмурился. Глядел под ноги. Думал. Следы полозьев и лыж сворачивали к холмам. Круто, заметно. Нарочно ему, Сеггару, на погляд.

- Повернём, – решил он наконец. – Где коготковичи прошли, мы пройдем.
- Знай стариков, – хмыкнул Гуляй. – Не удавать стать. Догоним!

Крагуяр задорно добавил:

- А и вытащим, если кому туго пришлось.

Светел отступил с лыжницы – пропустить Ильгру.

- Значит, бабка дочерей тебе напорочила? – поддел Гуляй. – А что про мужа сказала?

Витязница перекинула на спину толстую белую косу. Расхохоталась:

– Бабка давно из лет выжила, да ещё пива напробовалась! Слышал, чего нашей умнице наговорила? Что будто бы ей судьба любить друга госпожи, изводить её брата и брезговать её суженым!

Гуляй угрожающе потемнел:

- В старину за подобные предсказания язык тупым ножом усекали, да правильно делали!

Если старая ведьма сболтнула хоть на золотничок правды, это за кого, получается, они там нашу Ольбицу выдать хотят? За Болта, непотребника? Чтобы он ещё и к Нерыжени полез?

«Ольбицу?..»

- Поглядел бы я, что от него останется, – сощурился Кочерга.
- Болта нынче ни в столице, ни в Шегардае. На корабле, говорят, в Аррантиаду ушёл.
- погоди, вот вернётся...
- А Йерел? – спросил Крагуяр. – Сложив руки будет смотреть?

«Йерел...» Что-то смутно дрогнуло в памяти. Давнее, истёртое многими бурями. Прямо сейчас недосуг было вспоминать.

- А что Йерел? Там как ведь: чем круче ввысь, тем крепче тенёта.

- Воля им здесь была. Ныне спутанные живут.

– Отдали мы деток на гибель, – с такой отцовской горечью бросил Гуляй, что даже Светел почувствовал себя виноватым. О ком печалился угрюмый хромец? О заменках? О каких-то знатных юнцах, что некогда тоже воспитывались в дружине, а ныне Ойдриговичу служили?..

– Почему на погибель? – обернулась Ильгра. – Ты, Гуляюшка, не сам их на крыло ставил? Не сам ликовал, Орепею страже вручая?

...Светел вновь явственно ощутил токи могучих сил, рокотавшие совсем рядом, за невидимой гранью. Сил, властных менять судьбы людей и целых племён, прорываться кипунами величественных и страшных событий.

Опять Шегардай! Ойдриговичи!.. Уж не приблизилась ли война, о которой судачили ещё в Торожихе? А если так – куда поведёт Сеггара его верность? С Эрелисовым полком на Коновой Вен?

«Бежать домой во все ноги. Калашников в копьё поднимать...»

Взгляд уже шарил по сторонам. Кабы сзади не Гуляй с его луком, хоть за тем сувоем незаметно в сторону прыгнуть. Или вон за тем. А там – ищи-свищи! Поймали дикомыта на лыжах!

– Наши ребята не выдавцы, – поддержал Ильгру Кочерга. – Горячее железо тоже тихо лежит, а плюнь – зашипит, схвати – ожжёшься!

Свербящая тревога подталкивала к немедленному делу. К необратимому поступку. К неворотимому слову.

«Может, чем бежать, лучше Сеггару объявиться? Он справедливый... подскажет... Дядя Летень ведь не врал? Мне, маме?.. Не врал же?..»

Начал сыпать снег. Дыхание близкого грельника обтачивало хлопья, превращало в жёсткую крупку. Пока ещё редкую, но промешкай – всё запорошит.

– Наддай! – долетел голос воеводы.

– Не то пустит нас Коготок по ложному следу, смеяться станет потом, – добавила Ильгра.

Уразное шеломянье прежде было самой обычной грядой. Холмы, распадки, лес, ягодники по склонам. Удобная дорога в торговое Пролётище, где среди болот отдыхали журавлиные стаи перед кочевьем на юг. Теперь всё изменилось. Погибший город становится городищем, Уразы стали Уразищем. Снеговые тучи здесь будто войной друг на дружку ходили. Гряда превратилась в один белеющий вал – холм от холма не разберёшь. Чтобы достичь Пролётища, шеломянье объезжали с северной стороны. Так повелось после того, как на прямоезжей дороге пропало несколько поездов. Люди, оботуры, сани с товарами.

У входа в Туманную щелью след коготковичей, несмотря на порошу, был ещё зряч. И вёл прямо вперёд.

Здесь Царская вновь ненадолго остановилась. Сеггар подозвал Светела:

– У тебя, отрок, глаза острые... Приглядишь: петель не намётано?

Светел, гордый навыком следопыта, осмотрел снег. Смахнул свежую посыпь.

– Нет, государь воевода. Никто в сторону не свернул. Только сам Коготок отходил Хозяинушке поклониться. Его ирты: на левой пятка царапает.

По правую руку в мёрзлой скале виднелась вырубленная печурка. Потыкиного подношения там, конечно, уже не было. Горные Хозяинушки, как и Лешие с Болотниками, приходят за угощением в обличье птиц и зверей. Сеггар вложил в печурку лепёшку, взятую из кружала:

– Мы к тебе с правдой, и уж ты нас помилуй... – Вернулся, махнул кайком. – Вперёд!

Сперва теснина казалась обыкновенной. Чуть дальше со скал по бокам стали пропадать ледяные натёки. В воздухе простёрлись как будто паутинки мороза из самого сердца зимы. Витязи начали вытягивать из-под куколей меховые хари, укрывать лица. Светел видел, как качала головой Ильгра. Ему самому снег под лыжами почему-то казался неправильным. Ненастоящим. Мёртвым прахом, залетевшим в живой мир из мира Исподнего. Тыча кайком, Светел приметил змейки тумана, плававшие у подножия скал.

Тут уже голоса взялись до того странно отдаваться в каменных стенах, что стихли последние разговоры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.